

Осень
2024

SÖZDAY

#1

Kazakhstani Modern Literary and Art Magazine

Поэзия
Заир Асим
Тигран Тунияцц

Проза
Сауле Кожатаева
Тимур Нигматуллин

Критика и переводы
Christine Hengevoss
Орал Арукенова

SØZDAY, N°1 (01) 2024

Издательские решения
По лицензии Ridero
2024

УДК 82-3
ББК 84
S99

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

SØZDAY, №1 (01) 2024. — [б. м.] : Издательские решения,
S99 2024. — 152 с.
ISBN 978-5-0064-7515-1

**УДК 82-3
ББК 84**

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0064-7515-1

SØZDAY

Независимый литературно-художественный журнал

Основан в сентябре 2024 года

№1 (01) 2024

Сайт журнала: **sozday.kz**

E-mail: **sozday@sozday.kz**

Главный редактор: Илья Одегов

Соредактор: Айгерим Тажи

Редакторы: Владислав Резников, Ольга Капитова

Дизайн: Дина Абдулхамид, Айгуль Байгожаева

Веб-поддержка: Алексей Талаев

СММ: Яна Городецкая

Координаторы: Жанара Аламанова, Анатолий Батомункуев

Оформление обложки: А.Т.

Редакция не имеет возможности вести переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут ответственность за достоверность предоставленных материалов. Мнения автора и редакции могут не совпадать.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал SØZDAY обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Слово главного редактора — 5 стр.

ПРОЗА

Сауле Кожатаева — КАК ДЕЛА, ТЁТЯ МАША?, *повесть* — 9 стр.

Алексей Талаев — КНИЖНЫЙ КЛУБ, *рассказ* — 41 стр.

Анна Фенина — ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС, *рассказ* — 46 стр.

Ольга Капитова — КАМИН, *рассказ* — 51 стр.

Тимур Нигматуллин — КАК БОББИ ФИШЕР, *рассказы* — 55 стр.

Рустем Аламанов — МАГАЗИН СЛАДОСТЕЙ, *рассказ* — 61 стр.

Наталья Тартаковская — БЕЛКА, *рассказ* — 64 стр.

Дмитрий Фалеев — ПОСЛЕДНИЙ ИЗ АРГОНАВТОВ,
рассказ — 74 стр.

ПОЭЗИЯ

Заир Асим — АБСОЛЮТНАЯ ДИКАЯ ТИШИНА, *стихи* — 95 стр.

Тигран Туниянц — СТАНЦИЯ ПРОМЕЖУТКА, *стихи* — 102 стр.

ТЕОРИЯ

Орал Арукенова — МИФОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС ТРАВМЫ
РОЖДЕНИЯ В ПОВЕСТИ АБИША КЕКИЛБАЕВА «КОЛОДЕЦ»,
статья — 109 стр.

ДРУГОЙ ЯЗЫК

Илья Одегов — ОВЦА/DAS SCHAF, *повесть, перевод на немецкий
Кристины Хенгевосс* — 121 стр.

Здравствуйте, дорогие читатели!

С большой радостью и гордостью я хочу представить вам первый номер литературного журнала SØZDAY! Журнала, который, как я надеюсь, станет площадкой для творческих экспериментов и местом, где читатели смогут познакомиться с прозой и поэзией современных авторов.

В самом названии кроется значение и цель этого проекта. Любое творчество — это созидание. «Создай!» — говорим мы, приглашая вас стать участниками процесса. Находясь в сердце Евразии, в одной из самых мультинациональных стран мира, мы ищем возможность соединять в этом проекте не только разноплановое творчество, но и языки. И потому в название журнала слово (sez) соединяется с днем (day), превращая эту комбинацию то ли в «день слова», то ли в «творческий четверг», а может быть просто в тот самый призыв — «создай»!

Думаю, что журнал стал естественным продолжением писательской школы «Литпрактикум», и в первом номере вы найдете немало произведений выпускников школы. Но двери журнала открыты всем. Мы ищем талантливые произведения опытных и начинающих писателей из любой страны мира. А ещё, кроме прозы, поэзии и критики, в каждом номере журнала SØZDAY будет место для текстов на других языках — и оригинальных, и переводов.

Хочу выразить огромную благодарность всем участникам проекта, которые с энтузиазмом согласились помогать в его реализации! И мы очень ждём, дорогие читатели, вашей читательской реакции. Потому что этот журнал делается для вас — для того, чтобы у вас была возможность познакомиться с творчеством замечательных авторов, которые живут рядом с вами, говорят на одном с вами языке и которых волнуют те же вопросы, что и вас.

Что ж, а теперь — время читать! Приятного чтения!

Илья Одегов,

главный редактор журнала SØZDAY

ΠΡΟΖΑ

Сауле Кожатаева¹

КАК ДЕЛА, ТЁТЯ МАША?

повесть

«Винаваттаалия, винаваттаалия,
Винаваттаалия што люблю?
Винаваттаалия што мой голас дражал,
кагда пелаа я песню ему...»

Покинув нетрезвый женский хор, Муслима вышла в гулкий коридор раздевалки фабрики ПОШ (первичная обработка шерсти), подошла к небольшому квадрату тусклого зеркала и, потянув концы и без того туго повязанной сзади косынки, пристально вглядываясь в зеленые глаза, спросила у своего отражения:

— Как дела, тетя Маша?

Цех мойки шерсти — самый тяжёлый на фабрике, там работают только выносливые женщины. Грязная шерсть в кипах приходит к ним после цеха сортировки. В моечном цеху стоит густой пар, потому что шерсть моют в чанах с горячей водой, с мылом и содой. Здание фабрики старинное, где-то под высоким потолком в облаках пара плывёт старый выцветший лозунг «Наша цель — коммунизм». Не смогли снять, но на входе в цех висит актуальный — «Перестройка. Ускорение. Гласность.»

¹ Писатель, филолог, блогер. Училась в Семипалатинском пединституте. Работала преподавателем на кафедре современного русского языка. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Дактиль» и др. Лонглистёр международного литературного конкурса «Русская премия» 2024 года. Рассказы переводились на немецкий язык. Живет в Алматы.

Каждую партию моют в пяти чанах, чтобы шерсть стала чистой. Работники ходят в резиновых сапогах и перчатках, у многих предпенсионных профессиональные артриты и ревматизмы. Тяжелее всего привыкнуть к запаху, а когда привыкаешь, уже не замечаешь, что он въелся в кожу и волосы, кажется, навсегда.

После мойки шерсть переходит в сушильный цех, самый легкий.

Муслима работает в моечном уже двадцать пять лет. Привыкла.

Когда пришла, старый бригадир — бывший фронтовик с контузией — не мог запомнить её имя, вот и стала с его лёгкой руки Машей.

Апрельский Ленинский субботник, который фабрика ударно завершила ещё до обеда, вычистив свой участок города ровно до мясокомбината, стал поводом для небольшой посиделки в комнате отдыха, примыкающей к женской раздевалке. Когда горкомовские проверяющие разъехались, а директор убыл на своей чёрной Волге в Абайский район ругаться с заготконторами, начальник отдела кивнул бригадирше Петровне, дескать, можно.

Водочку и нехитрую закуску женщины принесли ещё с утра. У мойщиц самый дружный коллектив, умеют быстро собраться, быстро расслабиться от тяжёлой физической работы, попеть-поплясать, посплетничать о сушильщиках и разойтись.

— Чистая, как слеза! — обняв бутылочку беленькой, вздохнула Райка Горбачёва (Раю так звали, потому что у её мужа на полголовы гемангиома была яркая), — Девки, давайте поплачем! Где тётя Маша? Тётя Маша, айда петь!

Муслима действительно пела так, что невольно хотелось плакать, то ли тревожась о будущем, то ли сожалея о прошлом.

Отражение ничего не ответило Муслиме, казалось, только взглядом выразило: «Как дела? Сама знаешь, как наши дела».

Статная, ещё красивая поздней женской красотой, Муслима развернулась, широко разведя полные, сильные руки, дробно перестукивая ботинками и поводя покатыми плечами, запела частушки, от которых краснели молодые шофера. Сегодня тётя Маша не хочет плакать.

Муслима — татарка, из Алтайского края. Ей только-только восемнадцать исполнилось, когда приехала за любимым в незнакомую казахскую степь. Военская часть, в которой служил призывник Серик Оспанов, располагалась в их райцентре. А Муслима тогда пела в школьном хоре, каждый год на майские выезжавшем на праздничный концерт в подшефную воинскую часть. Она солировала с одной единственной песней. Пока пела, Серик полюбил. Ещё припев патриотической песни не был допет, а в сердце молодого человека поселилась Муслима, вытеснив тоску по родине, по полынному запаху степи, по материнской утренней ласке, по сёстрам и брату, по преданному Актосу¹ и верному Тарлану². За год службы Серик, впервые за восемнадцать лет жизни покинувший свой маленький аул, объездил почти весь Алтайский край: то офицеров сопровождал в командировках, то на разных стрельбищах был. Белоснежные шапки высоких гор, прозрачные озера, бурлящие водопады и широкие луга, — вся красота этого величественного места не могла заменить ему бескрайнюю, то пестреющую маками, то выжженную палящим солнцем, то накрытую белоснежным глубоким покровом степь. Серик усеиваемо снился запах полыни, в ушах свистел ковыльный ветер, в глазах,

¹ *Актос — кличка собаки*

² *Тарлан — кличка коня*

как мираж, стоял степной горизонт. Несколько раз он побывал в самом райцентре, на увольнительных. Алтай, как плавающий котел, смешал народы так, что и не поймёшь, кто какого рода и племени. Много красивых девушек — высоких, белокожих, с широко распахнутыми глазами и шелковистыми волосами цвета пшеницы. В степи таким не выжить, рассуждал практичный Серик: солнце сожжёт белую кожу, растреплет и выжжет тонкие волосы, ветер засыпет песком широко раскрытые глаза.

И вот его сердце часто-часто бьётся от пения школьницы. Голос такой... В самую душу льётся. Будто не поёт, а говорит с тобой. Серик полюбил сначала голос, а потом всё остальное: зелёные глаза, меняющие цвет от прозрачно-крыжовенного до матово-бутылочного, молочную кожу, голубой пульс, бьющийся в высокой шее, туго заплетённую косу медового цвета, нежный пробор, трогательное волнение пальцев, теребящих край фартука.

Потом он узнал номер школы и ближайшую увольнительную провел у её ворот. И ещё не раз приходил, пока Муслима не заметила его, пока их взгляды не встретились. Как все старшие дети в многодетных семьях, Муслима рано повзрослела, весь быт и младшие дети были на ней, пока родители работали. Не было времени на внезапно пришедшую первую любовь, да и Серик мог приходиться только по увольнительным, или когда командиры отправляли с поручением. Он использовал любую возможность, чтобы оказаться в райцентре. Если это было короткое свидание, они просто держались за руки и смотрели друг на друга, сидя на лавочке позади её дома. Если выпадало хотя бы полдня, они уходили на берег реки, где Серик рассказывал Муслиме про джайляу¹ и бархатное ночное небо над ним, про долгие снежные зимы, про иноходца Тарлана, который как человек, всё понимает, про Актоса, с которым даже волков можно не бояться:

— Знаешь, как Актос однажды овцу от волков отбил? — так Серик начинал очередную историю, которая ярко, как в кино, показывала жизнь степного аула.

— Как?! — с придыханием, в котором уже заранее был восторг, вторила Муслима, влюбляясь ещё больше в своего номада.

Так прошли лето, осень и зима. А в конце мая у Серика демобилизация.

— Муслима, — волнуясь и крепко сжимая ладонь девушки, он начал разговор, который обдумывал полночи, — я люблю тебя, но остаться здесь, с тобой, не могу... Меня ждут дома... Их я люблю так же, как тебя. Там моя земля... Муслима, жаным², если веришь мне, будь моей женой, уедем вместе! Обещаю, никогда тебя не обижу!

Муслима понимала, что родители будут против её раннего замужества, поэтому просто написала записку с просьбой простить её и обещанием писать письма.

— Муслима, ты куда? — встрепенулся самый младший из братьев, протирая спросонья глаза.

— Тсс, спи, мой маленький! — она прилегла рядом, вдыхая напоследок детский запах нагретой макушки.

Потом собрала маленький чемоданчик вещей, взяла паспорт и полученный только вчера школьный аттестат и собралась уже было выйти за дверь, но вернулась, чтобы пере-ставить кастрюлю с подоконника на край остывающей печи: пусть каша будет теплой, когда младшие проснутся.

Серик же знал, что мама будет вынуждена принять Муслиму только в одном случае. Когда он привезет её, как свершившийся факт, как свой выбор. Он был полон реше-

¹ Джайляу — пастбище в степи

² Жаным — душа моя (каз.)

мости отстаивать этот выбор, несмотря на то, что знал, матери будет больно. Ей будет больно, что сын не искал её благословения, что она не влияла на его выбор. Будет больно, что где-то на чужбине, забыв все наказания и предостережения матери, забыв свои традиции и обычаи, забыв наказания предков о чистоте рода, он свяжет судьбу с татаркой из России. Но ведь это мама! Несмотря на боль, она примет его любовь!

А что оставалось Нурбике?! Конечно, только принять.

Серик ведь выпрошенный, вымоленный у Аллаха после шести дочерей сын. Покойный муж очень хотел сына, с какой же благодарностью он впервые взял его в руки, как же он праздновал его рождение! Сын не только продолжение рода. В будущем это сила, защита, опора. А в настоящем — подтверждение твоей мужественности. Нурбике же тогда чувствовала себя впервые родившей, по особенному счастливой. Последние две девочки, названные Улболсын (пусть будет мальчик) и Улжан (душа мальчика), вызывали чувство досады, которого Нурбике сама пугалась. А недовольная свекровь саркастически делилась с соседями:

— Наша сноха много чего умеет, но лучше всего ей удаётся рожать девчонок.

Нельзя сказать, что Серик рос избалованным, просто он всегда знал, ему дозволено больше, чем сёстрам. После него Нурбике родила ещё одного сына, но уже будучи вдовой. Муж зачал Сакена и умер за два месяца до его рождения. Нурбике оплакала мужа, как положено, и больше ей плакать было некогда. Поднимала детей, содержала дом и скот, принимала решения, несла ответственность. Сейчас устала быть властной и авторитарной. С нетерпением ждала возвращения любимого сына. Да-да, ни от кого ведь не скроешь особую любовь к одному ребёнку. Дочерей она рожала одну за другой, даже не запомнив чувств, которые испытывала к ним. Младший Сакен родился в горе: Нурбике просто

освободилась от бремени, подвязала туго живот и сразу пошла работать. Только с Сериком она испытала огромное чувство любви и нежности, расслабленности и благодарности.

И вот он вернулся. Возле возмужавшего сына стояла девушка, физически старавшаяся стать меньше, съёжившись под пристальными взглядами будущих золовок и свекрови. Красивая. Только нездешней красотой. А что Нурбике от её красоты? Главное, чтобы покладистая и работающая была. Она накинула платок на голову Муслиме¹.

Соседи весь день под разными предлогами заходили к Нурбике, посмотреть, кого там привез её сын. Говорят, русскую какую-то. Астапралла², как будто в нашем ауле все девушки на выданье перевелись!

Холодный, отстраненный прием свекрови и золовок, любопытные взгляды соседей, Серик, окунувшийся в родной водоворот, уже оседлавший Тарлана и умчавшийся в свой мужской мир — от всего этого Муслима сникла и, как будто, погасла.

— Женге³! Хотите, я вам двор покажу! У нас корова недавно отелилась, ягнята есть маленькие, с Актосом познакомлю, — предложил Сакен, братишка Серика.

Он довольно хорошо говорил на русском языке, его учительницей была депортированная в войну немка Мария Карловна. Сакен взял за руку Муслиму и вывел из-под обстрела взглядов. Она, сама почти ребёнок, тут же подружилась со своим деверем.

¹ *Покрыть голову невестки платком — казахский обряд принятия в семью*

² *Астапралла — выражение удивления*

³ *Женге — жена брата*

Нурбике, собравшись с силами и финансами, в два приёма отпраздновала свадьбу сына. Сначала собрала старейшин села, потом и остальных. Слава аллаху, пятеро дочек замужем, есть зятя. Каждый принёс по овце.

Так для Муслимы началась новая жизнь. Тяжелее всего было с пониманием и общением. Серик терпеливо учил жену казахским словам, но больше преуспевала грозная свекровь. Муслима боялась её властных интонаций, осуждающих взглядов, презрительного цоканья, нетерпеливо-непримиримых жестов.

— Отойди, неправильно делаешь! Показываю один раз, запоминай! — Нурбике демонстрировала молодой снохе, как делать, только один раз, второго шанса не было. Муслима старалась запомнить, а вместе с действием запоминала и слова, навсегда связывая их с интонациями свекрови.

По ночам она плакала, а Серик успокаивал:

— Вот увидишь, мама полюбит тебя! Она строгая, но справедливая. Иди ко мне, я скучал по тебе весь день!

В его объятиях Муслима забывала, что она нежеланная сноха. Утром, очень рано, услышав покашливание свекрови, Муслима тут же вскакивала, и начинался её долгий рабочий день, в котором самый счастливый момент — утренний чай с мужем.

Свекровь уходит осматривать двор и живность. Улжан и Сакен еще спят. Муслима уже подоила корову, почистила сарай, накормила кур, Актоса, овец и коз. Сейчас они вдвоём с Сериком, она наливает ему чай с молоком и пододвигает ближе чашку со сметаной и баурсаки¹. Молча пьют чай. О чем говорить?! Только что, ночью, они любили друг друга. Разве есть другой более понятный язык? Разве нужны слова? Они просто смотрят друг в друга. Потом Серик уходит на работу, в сельскую мастерскую, готовить технику к страде.

¹ Баурсак — выпечка из теста

Муслиме некогда скучать. Надо убраться дома, постирать, приготовить еду, помыть посуду, побелить печь, сепарировать молоко, поставить тесто, — все это под пристальным присмотром свекрови и Улжан.

Улжан... Труднее всего было с ней. Шестая дочь Нурбике родилась с умственной отсталостью. Взрослый ребёнок, навсегда привязанный к матери. Улжан понимала, что она не такая, как все. Это понимание озлобило её. Физически она всегда была сильнее других детей, даже при том, что с рождения приволакивала одну ногу, поэтому, защищаясь ли, нападая ли, била больно, даже родных сестёр. В обычную школу она ходить не могла, а специальная только в городе. Улжан не умеет ни читать, ни писать. С детства она при матери, живёт её настроением, её эмоциями. Когда в доме появилась Муслима, Улжан, считав материно недовольство и вынужденное принятие, сразу дала понять: «Ты мне чужая, я тебя не принимаю. Лучше бы тебя не было».

Опрокинутое ведро с надоевшим молоком, сброшенный с крыши сохнувший курт¹, выпущенные из загона цыплята, испорченное тесто — каких только виртуозных диверсий не совершала Улжан, лишь бы показать, какая неумеха эта пришлая невестка. Муслима молча всё исправляла, не жалуясь Серику. Знала, он расстроится, свекровь грозно сведёт брови, защищая дочь, а Улжан будет относиться ещё хуже. Однажды Муслима, убирая в большом сарае, сгребла в кучу весь навоз и побежала в дом, вспомнив про кипящий казан. Когда вернулась, увидела Улжан, яростно раскидывающую лопатой навоз по сараю. От неожиданности обе застыли, впервые Муслима застала золовку на месте.

— Только попробуй, только тронь меня! Уходи! — обороняясь лопатой закричала Улжан.

¹ Курт — сушеный творог

Муслима очнулась, бросилась к золовке и крепко обняла ее. Улжан обмякла в этих объятиях и зарыдала. Её худые плечи тряслись, а в сдавленных рыданиях было столько боли и жалобы на судьбу, что Муслима тоже заплакала.

На людях золовка оставалась такой же неприветливой со снохой, но перестала вредить. А наедине иногда даже помогала в хозяйстве.

Тяжелее всего для Муслимы было не петь, она боялась суровой свекрови. Иногда, в редкие свободные минуты, они с Сериком и увязавшимся Актосом уходили в степь, за село, и Муслима пела — громко, свободно и вольно. Дома она позволяла себе лишь тихонько напевать, когда они с Улжан вычесывали шерсть или белили стены, или стригли овец. Постепенно Нурбике поняла, не так уж всё и плохо. Молодая сноха, как податливая глина, можно слепить из неё то, что тебе нужно. А готовит как! Как с тестом управляется! Здесь, в селе, никто никогда не видывал и не пробовал таких пирогов. Одно слово, татарка!

Немного ревновала, конечно, особенно когда Сакен простодушно восклицал:

— Никогда я так вкусно не ел! Пусть теперь у нас только женге готовит, — и замуривал глаза от удовольствия, вперые познав другую кухню.

— Даа, моя Муслимаш¹ — мастерица, — гордо вторил Серик и тут же осекался под быстрым и тяжелым взглядом матери.

Муслима краснела, вскакивала из-за стола и начинала суетиться у печи. Это был её дар, с татарской кровью переданный от далеких прапрабабушек — умение чувствовать тесто и выпекать из него шедевры, даже при самом скудном наборе продуктов. Так Муслима обрела в глазах сельчан

¹ *Муслимаш — ласковое производное от Муслима*

ценность, тем более, что она никому не отказывала в помощи перед праздничными событиями и всем пекла татарские пироги.

Талант, сколько его не утаивай, всегда просочится, даже придавленный тяжёлой плитой страха и неуверенности. Так случилось и с другим её талантом.

Вскоре все село знало, невестка Нурбике поёт так, как по радио не поют. Впервые она выступила в сельском клубе, когда награждали передовиков на ноябрьский праздник. Серрику тоже дали грамоту и мешок зерна, только поэтому Нурбике благосклонно отнеслась к просьбе председателя разрешить Муслиме выступить на концерте. Неожиданно для всех она спела на казахском языке песню «Дударай». Два дня разучивали её с Сакеном, уединившись от всех в коровнике, под вздохи мерно жующей Акпан¹.

— Ойпырмай², за душу берет! — прослезилась своенравная старуха Батес.

— Ангелы, видать, в раю так же поют, — потрясенно сказал зоотехник Дуйсен.

— Деточка, вам надо учиться, — взяла Муслиму за руку Мария Карловна, — У вас талант.

О том, что забеременела, Муслима узнала от свекрови. Очень хотелось поделиться удивительным сном, а Серик уехал в соседнее село. Снилось ей, будто они с Сериком плывут на лодке по широкой, незнакомой реке. Вода прозрачная и тихая, в ней отражается солнце. Муслима нагибается, чтобы зачерпнуть ладонью солнечные блики, но вместо теплых бликов она касается чего-то приятно-прохладного и округлого. Это рыба! Большая рыба с пестрой чешуей.

¹ Акпан — кличка коровы

² Ойпырмай — возглас удивления

— Ты беременна, — уверенно сказала Нурбике, — даст бог, внука мне родишь, рыба к мальчикам снится. Больше не поднимай тяжелое, Сакена зови.

Ровно через девять месяцев измученная долгими и тяжелыми схватками, Муслима родила сына.

— Муслимаш, нашего сына зовут Избасар! — кричал в распахнутое окно сельской больницы Серик, дуэтом пьяный одновременно от счастья и нагретой водки, выпитой с друзьями тут же.

Солнце катилось к закатному горизонту, унося с собой душный летний день, запомнившийся им высоким синим небом со стремительным росчерком стрижей, травяным запахом ещё не успевшей выгореть степи, мычанием бредущих с пастбищ коров и многими другими простыми и обыденными вещами.

Нурбике так назвала внука в честь прадеда своих детей, надеясь, что муж на том свете остался доволен её решением. Странные чувства испытывала она — как будто сама родила, а не сноха. Такое же счастье, безбрежную нежность, женское торжество переживала она, когда родился Серик. Нурбике даже ревновала: как только внук, насытившись молоком, засыпал у груди матери, сразу забирала его к себе. А Улжан таяла от незнакомой прежде нежности, вдыхая сладкий детский запах, навсегда плененная любовью к Избасару.

Осенью Сакена призвали в армию на целых три года, в далекое Северное море.

— Женгей, — смущаясь, сказал он в ночь перед отъездом в город, на призывной пункт, — вот письмо для Гулжан... Я здесь написал всё, что не решился сказать ей вслух.

— Сакен, давай письмо, не переживай, я завтра же передам его!

— Как вы думаете, она дождется меня?

— Конечно! Однажды я видела, как она смотрела на тебя. Я бы точно дождалась!

Оба с облегчением засмеялись.

Полетели дни и месяцы, наполненные простым счастьем. Серик возвращался домой, а у ворот его встречали Муслима с улыбкой, уже самостоятельно шагающий, смешно-категорично отвергающий руку матери Избасар и стареющий Актос. Серик посылал жене ласковый взгляд, проявлять нежность на людях, особенно при матери, у них не было принято, потом подкидывал в небо восторженно смеющегося сына, трепал по загривку вьющегося у ног Актоса и устало заходил в дом. С весны он стал как-то чаще уставать, иногда внезапно появлялась испарина, хотелось прилечь и отдохнуть. Серик всегда был крепким и сильным. Болел редко, простуду легко переносил на ногах и только по настоянию матери послушно проглатывал растопленный курдючный жир, которым его ещё и снаружи натирала непреклонная Нурбике. Когда появился редкий, но странный натужный кашель, тоже стали лечить проверенным аульным способом. На время полегчало — кашель прошел, да и бодрость появилась. Но Муслима с тревогой замечала, что муж худеет, лицо стало землистого цвета, а главное — не было радости в глазах, растерянность и недоумение были, а радость исчезла. Казалось, он всё время прислушивается к себе и всматривается в себя, недоумевая «Разве это мое тело?». Сельский врач послушал и сказал:

— В легких чисто у тебя, хрипов нет, но знаешь, поезжай-ка ты в город. Мне не нравится, как ты выглядишь. Выпишу направление на рентген, на анализы. Не дай аллах, пневмонию пропустим.

— Сейчас без механика никак, я один остался, — подумав, ответил Серик, — дней через десять смогу поехать, а пока дайте мне таблеток каких-нибудь.

Но в город пришлось ехать раньше, Серику стало тяжело дышать, он вполсилы вдыхал и также вполсилы выдыхал. Муслима привезла мужа в Семипалатинск на попутках, дороге он перенес тяжело. Прямо из дома дальних родственников, у которых остановились, скорая увезла Серика в больницу. Муслима ходила туда каждый день, пешком преодолевая почти полгорода, садилась у ворот и ждала, когда ей разрешат зайти к мужу. Через десять дней за ней пришла старенькая санитарка:

— Пойдем, милая, доктор наш зовет тебя, — позвала и тяжело вздохнула.

Доктор старался быть отстраненным, ведь если каждому сопереживать, то профессия очень быстро «съест» тебя, но сейчас у него плохо получалась. Слишком умоляющими были глаза напротив, слишком ожидающими чуда, а не приговора.

Муслима как сквозь сон слушала слова про позднюю стадию, про стремительное течение, про оставшиеся два месяца, не больше, про рак легкого, который, увы, на современной стадии развития медицины никому не оставляет шансов, про короткую ремиссию, и про то, что завтра Серика выпишывают домой.

Нурбике очень хорошо помнила тот день. С утра Саржал¹ накрыла пыльная буря, тусклый солнечный диск низко висел над горизонтом, сомневаясь, стоит ли сегодня освещать степь. К обеду ветер стих, а по дворам пошли солдаты. Всем сельчанам было велено сидеть дома, никуда не выходить, накрепко закрыть все окна и двери, скот и птицу загнать в сараи и запереть. Военные ничего не объясняли, но саржалцы знали, далеко в степи проводят испы-

¹ Саржал — село в Семипалатинской области

тания, значит, сегодня будет ещё один взрыв. Они уже знакомы со странными ощущениями, сопровождающими эти взрывы. Сначала земля будто коротко вздыхает, затем нарастает дрожь земли, потом землю будто выворачивает наизнанку и происходит взрыв. Дома и люди сначала колыхнутся, потом долго трясутся. Мычавшие до этого коровы, блеявшие овцы, ржущие кони, — все в страхе замолкают. Если разрешили оставаться в домах, то взрыв не такой сильный, как в том году, когда все село эвакуировали далеко в предгорье. Люди прятались в оврагах, детей укрывали войлоком. Те, кто высовывался во время взрыва, видели огромный гриб, поглотивший солнце, но тут же родивший своё искусственное светило, во сто крат ярче настоящего. Вернувшись в село, люди обнаружили разрушенные саманные дома, покосившуюся школу и в страхе разбежавшийся скот.

В тот день Нурбике, загнав в сарай живность, завела всех детей домой. Вспомнила, что оставила во дворе ведра с водой и быстро вышла за ними, в этот момент и выскользнул из дому подросток Серик. Когда Нурбике обнаружила, что сына нет дома, земля вздохнула и задрожала. А Серик в это время был уже на крыше дома, хотел увидеть атомный взрыв своими глазами. Почтальон Ораз рассказывал, как он видел наземный взрыв, немного высунувшись из оврага и прикрывшись кошмой. Хоть и было километров сто до полигона, а все видно, как на ладони: из земли вырастает огромное облако, как гриб, светло и нестерпимо ярко становится, как будто сто солнц одновременно поднялись в небо. Серик успел увидеть клубящийся гриб. Когда землю вывернуло наизнанку, дрожащий дом колыхнуло, мальчик скатился с крыши и, упав, потерял сознание.

Теперь Нурбике в страшной болезни сына винила себя — не уберегла, не доглядела за ним в тот день. В послед-

ние два-три года сельчане стали чаще болеть, уже трое скончались от рака. Ораз сгорел за два месяца. Вслух никто не говорил о причинах, но люди стали связывать это с полигоном. Пройдут годы, прежде чем они узнают слово «облучение».

Ни материнская молитва, ни привезенный из соседнего села баксы, ни снадобья русской травницы из города — ничто уже не могло спасти Серика. Он таял на глазах, очень скоро уже не мог выходить во двор. Иногда хриплым шёпотом звал Муслиму, подзывая ещё рукой, обессиленно падавшей потом от страшной усталости после небольшого жеста. Муслима приподнимала мужа и усаживала в кровати, сама садилась к нему спиной, поддерживая его слабое тело. Так, спина к спине, они долго сидели молча. Серик смотрел в небольшое окно, в котором было видно кусочек осеннего неба и пожухлой степи, слышал тихое ржание Тарлана и беспокойный скулеж Актоса. Потом он уже не мог садиться. За десять дней до ухода Серик жестом попросил жену наклониться к нему и с усилием прошептал:

— Муслимаш, прости... Я не должен был тебя увозить...

Муслима взяла его истаявшую кисть, поцеловала ладонь и спрятала в неё свое лицо. Боль терзала Серика так, что последние дни он был почти в забытьи. Краем сознания он звал смерть: как избавление, как награду. Она милосердно пришла за ним под утро. Страшно завыл Актос, заголосила Нурбике, застыла Муслима.

Три дня свекровь и золовки по очереди исполняли «Жоктау», плач-песню об умершем. Плач и слёзы облегчали их горе, а ещё это был необходимый поминальный обряд. Нурбике усаживала рядом с собой Муслиму и настойчиво просила её вторить их плачу. Но Муслима застыла и, кажется, уже не способна была выражать горе. Она переживала его каждый день, каждую минуту, все два месяца, в течение которых почти не спала. Сидя ночь напролёт у изголовья,

или притулившись в кровати рядом с почти бестелесным мужем, Муслима сторожила каждый его слабый вздох, растирала синие ступни ног, грела его холодные руки, кладя их себе прямо под платье, на грудь, к сердцу. При этом она также занималась хозяйством — доила, убирала, чистила, готовила, стирала — обихаживала семью. Только Избасар был полностью на свекрови и Улжан. Он давно уже спал с Нурбике, научившей его называть маму по имени.

Муслима сидела, как во сне, но странным образом она видела одновременно всё и всех. Её мозг зачем-то фиксировал каждого проходящего с соболезнаванием: кто как был одет, какие говорил слова, как с недоумением смотрели на молодую вдову с сухими глазами, как осуждающе переглядывались золовки.

Завыла, заголосила Муслима только через неделю, когда несла с колодца ведра, полные воды. Вода расплескивалась, и Муслима остановилась, устало села прямо у дороги и вгляделась в своё отражение в ведре. По воде пошла рябь от упавшей капли:

— Калайсын, Муслимаш? (Как ты? Как дела, Муслимаш?), — обратилась к себе женщина. Так спрашивал Серик, жалея уставшую жену.

И Муслима, подняв к небу лицо, зашла в протестующем крике.

Сорок дней пролетели быстро, хотя казалось, что горькое чувство сиротливого вдовства погрузило Муслиму в бесконечно зыбкое, тягучее состояние безвременья.

К поминальному асу готовились два дня, в три приёма все село посетило дом Нурбике: вспоминали Серика, шёпотом обсуждали, что в соседних селах тоже стали умирать от мучительной болезни, но чтобы таким молодым... Перед уходом говорили слова утешения причитающим матери и сестрам усопшего, вновь удивляясь то ли покорной, то ли протестующей судьбе безмолвности молодой вдовы. Му-

слима же готовилась к важному разговору со свекровью, Нурбике понимала его неизбежность и давно приготовилась. Долгий трудный день клонился к закату, они обе сидели на крыльце дома и смотрели на играющего Избасара. Ребёнок рос копией своего отца, поражая всех вокруг этой схожестью: тот же легкий наклон головы, та же походка с подавшимся вперед корпусом, как будто преодолевающим сопротивление ветра.

— Я... Мы уедем на днях, — неуверенно начала разговор Муслима, — решила вернуться домой, к своим, на Алтай, Вы дадите нам на дорогу денег?

— Денег дам, но уедешь ты одна, — уверенно ответила Нурбике, — мой внук останется со мной!

— Как же я уеду без него!?! — отшатнулась Муслима.

— А обо мне ты подумала?! Я потеряла сына, ты хочешь, чтобы потеряла и внука? Молчи! Знаю, что больше не увижу его, если отдам тебе. Избасар наш, нашей крови, его земля здесь, здесь похоронены его отец, дед и прадеды!

В крике Нурбике звучала отчаянная решимость, Муслима поняла — не отдаст. И тихо, безысходно заплакала.

Свекровь поняла, что победила и добавила:

— Разве тебя кто-то гонит, разве тебе плохо здесь? Ты ведь мне как дочь. Кто тебя там ждет? Кому ты нужна с ребёнком? Разве Серик успокоится в том мире, если будет знать, что его сын скитается?

Впрочем, сноха никогда ей не перечила. Привыкла слушаться.

Весной Муслима вышла работать дояркой на ферму. Однообразная физическая работа с ранними подъёмами, с тяжёлыми флягами молока, с руками в холодной воде, в отяжелевших от налипшего навоза резиновых сапогах не оставляла времени и сил на раздумья о том, что будет дальше.

Но об этом думала Нурбике. Она понимала, что не может бесконечно удерживать у себя молодую женщину, как

заложника её любви к внуку. Рано или поздно Муслима отойдет от острой боли потери любимого мужа, жизнь возьмёт своё, ей захочется свободы от свекрови и женской устроенности. Вряд ли Нурбике удержит её ещё раз, вряд ли повзрослевшая и к тому времени заматеревшая сноха испугается угроз свекрови. Совет ей дали, как всегда, старейшины села. Они напомнили о традиции аменгерства — если умирал мужчина, то на его вдове должен был жениться один из его братьев. Как раз один из этих старцев, степенный и благообразный Жумабай, имел двух жен: свою законную, на которой женился ещё молодым, и вторую, когда-то бывшей женой его брата, погибшего на войне. Старшие родственники тогда решили, что теперь он должен взять на себя ответственность за неё и троих детей брата. Гражданским законом это было запрещено, поэтому такой брак не регистрировался. Но в прошлом эта традиция имела силу закона. В степи, где выживал сильнейший, одной вдове прожить с малолетними детьми было почти невозможно. В те давние времена о возвращении женщины, оставшейся без мужа, к своим родичам не могло быть и речи, ведь она уже была человеком рода своего мужа, Таков был левират степи. Аксакалы заверили Нурбике, что поддержат её и, если надо, поговорят и с Сакеном, и с Муслимой.

Скоро будет годовщина со дня смерти Серика, а через два месяца после неё демобилизуется Сакен и вернется домой.

Разговор с Сакеном не получился. За время службы он превратился из нежного и послушного мальчика в самостоятельного и уверенного в себе мужчину. Он сначала удивился, потом рассмеялся и ушел к Гульжан. Всю неделю, после его приезда, они встречались каждый день и не могли расстаться поздними вечерами. На следующий день Нурбике навестила родителей Гульжан. Как бы между прочим, она рассказала о своих аменгерских планах, добавив, что ни

сын, ни сноха никогда её не слушаются. Гульжан, стоя за дверью, все слышала. Через три дня она уехала в город, поступать в техникум.

От Муслимы Нурбике не ожидала такого безмолвного отпора. Разговора вовсе не было, в ответ на план свекрови сноха молча стала собирать вещи, свои и сына. Когда Нурбике легла у порога, сняв с головы и бросив под ноги снохи белый платок¹, Муслима взяла на руки ребёнка, решительно переступила через неё и открыла дверь.

Женились они унылым дождливым днём.

На пять сёл был один нелегальный мулла. Дуйсен, старший зять, привёз его на телеге из самого дальнего лишь после обеда. Пожилой, но ещё бодрый мулла в потёртой кепке и кирзовых сапогах, служивший по совместительству счетоводом, быстро провёл брачный обряд никах, выпил большую пиалу кумыса, закинул в телегу овцу, предложенную Нурбике в качестве оплаты за услуги и умчался, по пути обдумывая странное поведение молодых: они были безучастными и отстранёнными.

Нурбике спешила. Да и какая разница, кто благословит этот брак! Государство в лице служителя ЗАГСа, или небеса в лице деловитого муллы. А ехать в райцентр и делать всё по закону нет времени, но самое главное, она не хотела ни на минуту выпускать их из-под своего контроля. Боялась, что выйдут из-под её власти.

В эту же ночь Муслима и Сакен легли в одну постель. Они лежали, соединённые чужой волей, отвернувшись друг от друга, стараясь максимально отдалиться в этой узкой кровати, каждый почти свисая с краю. Муслима испытывала вину за то, что её навязали Сакену. Он испытывал злость на себя, за своё бессилие перед авторитарной матерью и пе-

¹ По обычаю, через белый платок нельзя переступать

ред традициями. А к Муслиме, закаменевшей рядом, он испытывал глухое раздражение. Нурбике лежала, обняв внука и прислушиваясь к тишине: «Ничего, жизнь возьмет своё».

Жизнь взяла своё через полгода. Возвращаясь из соседнего села, где по поручению Нурбике навещали старшую сестру, сломавшую ногу, попали под сильный ливень. Дождь стоял плотной стеной, дорогу сразу размыло и идти стало невозможно: ничего не видно, а ноги отяжелели от налипшей глины. Сожалея, что не послушался зятя Дуйсена, предвидевшего непогоду и предлагавшего остаться на ночь, Сакен пытался разглядеть заброшенную кошару. По его расчётам она должна быть где-то недалеко. Он крепко схватил за руку Муслиму и двинулся направо, преодолевая холодный, секущий поток воды. Да, всё верно, кошара здесь. Они укрылись в ней, старые стены давали хоть какую-то защиту. Муслима распустила косы и стала отжимать свои потемневшие от воды густые волосы. Сакен собрал остатки щепок и соломы в маленькую кучку и разжег огонь чудом не отсыревшими спичками. Чтобы согреться, они придвинулись друг к другу и молча смотрели на робкие языки пламени, от костра было больше дыма, чем тепла. В этот момент Сакен почувствовал рядом не женге — жену старшего брата. Он почувствовал женщину — красивую, молодую, полную соков и энергии. Мужчина повернулся к ней и будто впервые увидел зелень глаз, поток медовых волос, молочную шею и волнующую грудь. Впервые рядом с ними, за стеной, не было Нурбике. Сакен обнял Муслиму, задохнулся от близости её тела и протяжно выдохнул: «Гульжааан»...

Муслима понесла сразу. В положенный срок, в феврале, родила сына. Стояли небывалые морозы, после них обильный снегопад, накрывший дома по самые крыши. Роды принимали Нурбике и Сакен, в больницу было не попасть. Измученная Муслима крепко держала ребёнка

и не хотела отдавать в руки свекрови, Нурбике забрала и сказала:

— Его зовут Амангельды¹!

Нурбике была права — жизнь всегда берёт своё. Зажили обычной семейной жизнью. Работа, дом, бесконечное хозяйство и дети. Вместе ходили на редкие сельские мероприятия в клуб или в гости к сельчанам, где сидели рядом. Только заметно было, как они пытаются казаться мужем и женой. Как старательные, но бесталанные актёры. Пастух Жумабай и его жена, которую он, напившись, регулярно гонял вокруг дома с топором в руке, и то выглядели более настоящей, счастливой семьей. Сакен не делил детей, Избасара любил так же, как и своего. Заботился о них одинаково.

Этой осенью старший пойдёт в школу, надо будет летом свозить Муслиму в город за покупками. С этими мыслями Сакен возвращался домой из райцентра. Председателю удалось выбить запчасти для техники, без них посевная была бы под угрозой срыва. Он отправил Сакена согласовать список запчастей и их количество. Сакен выехал рано утром верхом на Тарлане и рассчитывал вернуться домой после обеда. Но согласование оказалось не простым делом. Его гоняли из кабинета в кабинет, в ожидании очередной подписи он сидел почти по часу под дверями разных начальников. Выехал в село лишь под вечер. Мороз крепчал, но Сакен надеялся на Тарлана. Да и одет он был тепло: в дедовский махлай и отцовский тулуп. Когда преодолели половину пути, Тарлан внезапно сбился с ритма и тихо, но встревоженно заржал. Белоснежное поле пересекала цепочка волков. Сакен пожалел, что не взял охотничьего ружья, но ведь и по кабинетам с ним ходить не будешь. Он сжал поводья

¹ *Благополучно рожденный (каз.)*

и стегнул коня. Тарлан, несмотря на глубокий снег, ушёл далеко, но вдруг, сбившись с заметенной дороги и попав одной ногой в ямку, свалился набок. Сакен оказался под ним. Тарлан тут же вскочил, прихрамывая. Сакен пытался встать, но не смог. Острая боль пронзила ногу, и он почти потерял сознание. Когда отдышался, похлопал по задней ноге Тарлана, крикнув:

— Домой! Домой, Тарлан! — и свистнул.

Послушный конь, прихрамывая, поскакал в направлении села.

Сакен хотел медленно и осторожно подтянуть к себе сломанную ногу, на этот раз боль яркой вспышкой взорвала голову, и он по настоящему потерял сознание. Так он пролежал долго, потому что когда очнулся, не чувствовал своего тела — он замерзал. Почти в тумане он видел, как в ночных сумерках медленно собираются волки. Желтые глаза вожака смотрели уверенно, трое остальных ждали от него сигнала. Степь сковал самый сильный за эту зиму январский мороз, но Сакен уже не чувствовал холода. Там, вдалеке, по снежному полю к нему бежала женщина. Это была Гульжан. Сакен улыбнулся, легко вскочил и помчался ей навстречу.

— Аааа! Аааа! Аааа! — кричала Нурбике, раздирая ногтями своё лицо в кровь.

— Проклята! Ты же проклята! Как же я сразу этого не поняла! Сама, собственными руками отдавала тебе своих сыновей. Ты их погубила! Ты! В каких же муках они умирали! Аааа! — Нурбике бросилась к Муслиме, пытаясь достать до её лица.

— Мама, Мама! Это не Муслима! Она не убивала, она не убивала! Не трогай её, мама! — кричала, пытаясь оттащить мать, Улжан.

Муслима не могла сдвинуться с места, на неё напало оцепенение. Она не плакала и не рыдала, просто застыла. Как и в прошлый раз.

Когда глубокой ночью к дому наконец-то прискакал хромающий Тарлан, стало понятно — пришла беда, ночной мороз в степи никому не оставляет шансов. Днём, когда температура чуть поднялась, сельчане отправились на поиски Сакена. Ещё через день на санях привезли его останки.

Нурбике слегла через месяц после похорон. В селе стали сторониться Муслимы. Никто не просил её испечь татарских пирогов, никто не просил её спеть трогающих за душу песен. Золовки, навещавшие мать, не смотрели ей в глаза, стараясь молча обойти невестку. Улжан ходила за ними и повторяла:

— Это не она, не она. Муслима хорошая!

Так прошло полгода. Нурбике не смогла оправиться: ничего не болело, просто не было сил жить, просто таяли её телесная оболочка и авторитарный огонь в глазах. Перед смертью она подозвала Муслиму и тихо прошептала что-то, так тихо, что было не разобрать — то ли «кешир» (прости), то ли «кеш» (поздно)

У низко склонившейся Муслимы хлынули слезы, она предпочла услышать «прости».

На следующий день после похорон золовки, разбирая украшения и другие вещи матери, по традиции разделили их между собой и внуками. Улжан достался старинный гробень, Муслиме старый пуховый платок. Также золовки разобрали скот. Кто увел с собой коров, кто овец, а кто и всю птицу. Оставили только так и не оправившегося Тарлана, ставшего бесполезным в хозяйстве. Соседи качали головами и цокали языками — душа Нурбике ещё не покинула землю, а они разорили её хозяйство.

После сорока дней Муслима собралась уезжать из села. Её подруга Айнаш, тоже работавшая дояркой на ферме, ещё год назад уехала в Семипалатинск. Недавно приезжала в отпуск к родителям и рассказывала, что в городе сейчас

строится много фабрик, везде нужны рабочие руки. Сама она работает на фабрике первичной обработки шерсти, ПОШ называется. Дали комнатку в общежитии. Тяжело, конечно, но даже так в городе лучше, чем здесь.

Муслима думала всю неделю и решилась. Тарлана и ослепшего старого Актоса отвела к другу Серика. Потом повезла Улжан в райцентр к старшей золовке, та отказалась принять сестру. Сказала, что у неё и так проблем хватает с пьющим мужем, куда ещё больную сестру. Другие золовки тоже отказались, пряча глаза от Улжан. Все живут со свекровьями, которые не позволят взять сестру в дом.

Перед отъездом Муслима навестила Серика, Сакена и свекровь. Молча поговорила с ними. Потом собрала детей и Улжан, заперла дом, подхватила два больших баула и покинула Саржал на том же пыльном и тряском автобусе, на котором когда-то привез ее Серик.

Огромная фабрика пугала рабочим гулом и грохотом, удивляла количеством людей и разноязычием. В город на стройки цементного завода, камвольно-суконного комбината и других фабрик со всего Союза стекались люди.

Муслиму сразу взяли рабочей в моечный цех фабрики ПОШ, дали комнату в общежитии барачного типа.

Кровать в комнате была одна, на ней спали дети, Улжан и Муслима — на полу. Плитку, чтобы готовить, одолжила Айнаш. С первого аванса Муслима купила самое необходимое. Уставала сильно, хотя и была привычна к тяжелому сельскому труду. Позже она научится экономить силы, рассчитывать движения, сбрасывать напряжение и отдыхать в короткие минуты перед подачей новой партии тюков с шерстью. А ещё уставала от мыслей об ответственности за семью. Всю жизнь она была вдовой. Шла за Сериком, потом за Сакеном, слушалась во всем свекровь. Теперь она стояла на сквозняках, продуваемая со всех сторон. Теперь она главная в своей семье.

За детьми смотрела Улжан. Осенью Избасар пошел в школу. Жизнь потихоньку налаживалась. Ведь она всегда берет своё.

В коллективе Муслиму полюбили. Никогда не подводит, не выбирает взглядом тюки полегче, не сплетничает, не перечит бригадиру, с его легкой руки ставшей Машей. А поет как! Когда пришла, одни только грустные песни были, а сейчас все поёт. Даже частушки! Хор фабрики, куда насильно привёл Муслиму бригадир, обогатился её голосом так, что стал получать грамоты на городских выступлениях.

Через пять лет Муслиме дали ордер на двухкомнатную квартиру в ведомственном доме на Цементном поселке. Дом был двухэтажный, на восемь квартир, без канализации и с дощатой уборной во дворе. Муслима была счастлива. Она без конца намывала деревянные полы пустых комнат, устав, ложилась перед тёплой батареей отопления, подложив под голову ладони, и засыпала. Дом был дружный и весёлый, как хорошая крепкая семья. Все работяги с цементного завода и её фабрики. По праздникам накрывали общий стол: зимой на площадке второго этажа, а летом во дворе, под старым карагачом. Муслима пела и необычайно хорошела. Она вошла в пору своего женского лета. Соседки и подруги с фабрики, знавшие её историю, говорили:

— Муслима, попробуй ещё раз своё женское счастье! Неправильно это, такой красивой и молодой быть без мужика.

— Да какой мужик! У меня вон двое этих мужиков, — кивая на своих подростковых детей, отвечала Муслима.

А в голове вновь звучало свекровкино «Проклята! Ты проклята!»

Хотелось ли ей женского счастья? Она не думала об этом: тяжёлая работа, заботы о детях и все чаще болеющей Улжан, ставший неуправляемым Избасар, вошедший в подростковую пору, — всё это не оставляло ей сил и вре-

мени на свои желания. По совету соседки, работавшей врачом, она оформила инвалидность для Улжан, пройдя все бюрократические круги, а потом и опеку над ней.

Когда фабричный хор на областном смотре вышел на первое место и стал готовиться к республиканскому конкурсу, горком прислал к ним инструктора из отдела культуры. Курировать подготовку к важному конкурсу, ведь победа на нём обеспечивала выход на союзный уровень, в Москву. Инструктор был пожилым мужчиной со всеми атрибутами: тщательно зачесываемая лысина, аккуратный животик над брючным ремнем, неизменный галстук и разочарование в глазах. Разочарование от неоправданных амбиций, ведь выше инструктора отдела культуры ему уже не подняться, от постылой жены и неблагодарных детей. Должность в самом горкоме, пусть даже и в отделе культуры, придавала ему дополнительный вес в глазах женщин и он привык к легким победам над ними. На Муслиму инструктор запал сразу, только не думал, что простая фабричная рабочая потребует столько времени. После первого раза, когда он настойчиво поглаживал её плечо и смотрел неприличным взглядом, Муслима наотрез отказалась оставаться после репетиций и обсуждать с ним репертуар. Отказалась от маленькой коробочки дешевых духов, которую он суетливо, оглядываясь, не видит ли кто из задержавшихся, пытался сунуть в карман рабочей спецовки. Нельзя сказать, что мужчина был неприятен Муслиме. Просто женатый ведь. За годы работы на фабрике она научилась осаживать пристающих женатых мужиков. Да и вообще, где он, и где она..

Когда инструктор узнал, что Муслима не смогла прийти на очередную репетицию, потому что её сын попал в милицию за хулиганство, среди ночи выехал в отделение и решил вопрос.

— Ты мать-то пожалей, — строго сказав вызволенному Избасару, посадил их в свой Москвич и отвез домой.

— Спасибо вам, — тихо поблагодарила Муслима и еле удержала слёзы.

Так он узнал, как далеко они живут.. Стал после репетиций довозить Муслиму. Потом помог с больницей для Улжан.

А Муслима ведь не железная. Устала быть сильной и за всё в ответе. Хочется пусть ненадолго постоять за мужской спиной, спрятавшись от сквозняков. Пусть даже за чужой.

Она поддалась жарким уговорам и выходным днём поехали на его строящуюся дачу, тридцать километров от города. Пока ехали, Муслиму одолевали разные мысли:

— Что ж ты делаешь, Муслимаш?

— Я немного погреюсь... Замерзла одна.

— Красиво говоришь, как бы не пожалела потом.

Муслима давно забыла и тяжесть мужского тела на себе, и крепкое кольцо рук, и щетину на нежной коже шеи, и твердую ритмичную настойчивость в своем лоне, и запах мужского пота, и чувство желанности своего тела. А ведь сейчас пора её женского лета. Пора бурлящих соков, спелых плодов. А потом осень...

Когда приехали, все было обыденно и торопливо. Оба нервничали. Дачный домик был недостроенным, необжитым и холодным. Старая кровать с провисшей панцирной сеткой и тощим матрасом удивленно приняла на себя любовников, отчаянно раскачиваясь и скрипя. Он старательно пыхтел, а Муслима пыталась вспомнить молодого Серика и их первую ночь. Когда всё закончилось, и любовник встал с кровати, Муслима не удержалась от смеха. Он так торопился, что даже не снял галстук. Так и выполнил акт любви — в носках и галстуке. Мужчина посмотрел в окно и вдалеке увидел идущую к дому жену. Вспомнил, что она тоже собиралась сюда за соленьями. Он наврал, что в выходной будет занят с этим хором, будь он неладен. Значит,

она решила приехать сама, на автобусе. Анекдотичная ситуация.

— Чёрт! Быстро собирайся! Быстрее! Что ты улыбаешься, дура! — кричал он, судорожно натягивая штаны.

Потом открыл окно в противоположную сторону и вытолкнул Муслиму. Оделась и обулась она уже на улице. Пока дошла до автобусной остановки, пошел дождь. Стояла у столба без навеса и мокла. Мимо проехал его красный Москвич, с женой. Домой Муслима приехала поздно. Радовалась, что сильно замерзла. Что кроме холода ничего не чувствует. Только перед сном подошла к зеркалу, посмотрелась в свое лицо. слегка провела по нему рукой:

— Ну что, тётя Маша? Как дела твои? — и наотмашь хлестнула себя по щеке.

Годы отлетали, как верстовые столбы за окном разогнавшегося поезда. У Муслимы все было хорошо. Дети выросли. Избасар служил в армии и собирался поступать после неё в военное училище. Амангельды учился в техникуме. Пришли спокойствие и уверенность в будущем. Только Улжан, жившая до этого детьми, резко постарела и стала безучастной ко всему. Летом, во время отпуска, Муслима не поехала в ведомственный санаторий. Побоялась оставить Улжан.

А осенью в отделе снабжения появился новый начальник. Отставной полковник, вдовец. Шамиль Рашидович Файзуллин был родом из Алтайского края, удивительно, из того же района, что и Муслима. Ещё в молодости кадрового офицера направили служить в Казахстан, здесь он женился, вырастил детей и года два назад овдовел.

Ухаживал он за Муслимой экономно. Как по времени, так и по средствам. Немного стеснялся, что она простая рабочая. Но уж очень красивая. И, что немаловажно, здоровая: намучился он в последние годы с больной женой. А ещё Муслима не капризная, без претензий, нахлебалась в жизни так, что рада любому вниманию.

Вся фабрика гудела. Тёте Маше неслыханно повезло! Полковник, хоть и отставной, — это раз. Начальник отдела — это два. Вдовец со взрослыми детьми — это три. Да и просто ещё молодой и интересный мужчина. А тётя Маша ведь больше не хотела свою женскую судьбу пытаться!

Весной Шамиль предложил расписаться. Даже не предложил, а просто сказал:

— Пора нам, Маша, расписываться. Что зря ходить.

И добавил, что в планах у него возвращение на родину. Ближе к лету вместе уволятся и поедут в их родной район, на Алтай. Там у него после родителей остался дом хороший. Хозяйство заведём, вместе старость встретим.

— Сыновьям ты уже не нужна, младший после техникума в армию пойдет, — продолжал делиться планами Шамиль.

— А Улжан? — робко спросила Муслима, — с собой возьмем?

— Странная ты, Маша. Зачем мне чужая тетка, да ещё и на голову больная. Я этот вопрос, конечно, обдумал. Не изверг же. Сдашь её в Дом инвалидов. Помогу, есть у меня связи, — и коротко отдал команду, — Готовься!

Директор Дома престарелых (там же находился и Дом инвалидов) устроила для Муслимы экскурсию. Показала чистые светлые палаты с индивидуальными тумбочками и свежим постельным бельём, просторную столовую, меню с супами и котлетами, ванную с белоснежным кафелем, процедурный кабинет с медсестрами, дворик со скамейками под тенью тополей. Муслима думала: «А у нас дома нет ванной комнаты, даже уборная во дворе. Хорошо здесь будет Улжан!»

Спросила у директора, почему в палатах пусто, где постояльцы. Та ответила, что стоят у задних ворот, ждут своих детей и внуков — сегодня день посещения. И добавила:

— По поводу вас уже звонили. Можете нести документы.

В полупустом автобусе Муслима села у окна и устало прислонилась лбом к холодному стеклу. В нём отражалось её лицо, но Муслима не решилась привычно спросить: «Как дела, тетя Маша?»

Она переживала увиденное у задних ворот дома инвалидов. Старики, кто-то суетливо, кто-то напряженно, толкались у этих ворот, в ожидании детей. Совсем как в детском саду, в ожидании родителей.

Когда Муслима пришла домой, застала расстроенную Улжан.

Гребень матери, доставшийся после её смерти и давно уже растерявший половину зубьев, сегодня переломился надвое.

— Муслимаш, смотри! — всхлипывала золовка, — мамин гребень сломался. Мне теперь нечем причесаться.

Муслима села рядом, обняла и положила её голову себе на колени.

— Улжан, а давай летом в Саржал поедем! — поглаживая по волосам золовку совсем неожиданно для себя предложила она.

В Саржале они не были с тех пор, как уехали оттуда.

— В Саржааал? — с недоверием уточнила Улжан.

— Я хорошие отпускные должна получить летом! Купим всем подарки. Красный отрез в «Тканях» купим, бархатный. Улболсын же любит красный цвет!

— Да-да! Она любит красные платья. А Нуржамал любит серёжки с красным камнем!

— Купим ей серёжки с красным камнем! — смеясь подтвердила Муслима, — вкусных конфет наберём для их внуков. Потом возьмём билеты на автобус и поедем! Гостить будем, пока не устанем.

— К маме сходим...

— И к Серику, и к Сакену. Всех навестим! А гребень я тебе новый куплю. Завтра, после субботника.

«Винаватталия, винаватталия,
Винаватталия што люблюю
Винаватталия што мой голас дражал,
кагда пела я песьню ему...»

Нетрезвый женский хор продолжал с чувством выводить песню, а Муслима стояла у зеркала, пытливо заглядывая в зеленые глаза:

— Как дела, тетя Маша? — спросила она у отражения.

Молчит зеркало. Вроде как одобрительно молчит. А Муслима подумала, что пора уже собираться, сейчас споёт пару частушек и поедет домой. По пути ещё надо заехать в галантерею за гребнем.

Алексей Талаев¹

КНИЖНЫЙ КЛУБ

рассказ

В то промозглое мартовское утро Николай брёл по узкой дорожке, заставляя себя делать каждый следующий шаг. Сквозь опустившийся туман виднелись тёмные силуэты деревьев, чьи голые ветки цеплялись за пальто одинокого прохожего. Мёртвую тишину парка имени «Культуры и Отдыха» нарушил скрипучий голос колеса обозрения: «Вернись домой, Коленька, оно тебе не нужно». Но Коленька продолжал идти.

Деревья расступились, и перед Николаем открылся вид на пруд, посреди которого на маленьком островке угадывался силуэт кафе «Парус». Пройдя через мостик, он оказался в привычной обстановке заведения. В любимом закутке рядом с барной стойкой сидели его старые друзья: Клим и Аркадий. На столе уже приготовили бутылку, нехитрую закуску, две стопки и три книги с торчащими закладками.

— Семёныч, дружище, как же мы по тебе соскучились, — обрадовался Клим, увидев Николая, и ловко стянул ещё одну стопку с барной стойки. — Ты столько пропустил, даже не знаю с чего начать.

— Коля, хорошо, что сегодня пришёл, — Аркадий потянулся к книге в яркой толстой обложке. — Я как раз тут од-

¹ Автор рассказов и сказок для взрослых и детей. Лауреат IV Республиканского литературного конкурса имени Ибрая Алтынсарина. Финалист конкурса «Лето любви... по Фаренгейту» проекта «Год литературы» с рассказом «На нуле». Член жюри конкурса «Бумажный слонёнок», консультант проекта GPTheatre. Любимые жанры: фантастика, реализм, детская сказка. В свободное время работает на папке. В этом номере представлена дебютная публикация автора.

ну занимательную штучку у Бёрджесса нашёл, надо обсудить.

— Семёныч, ну ты чего стоишь? — спросил Клим, умело разливая на троих.

— Аркаша, Бёрджесса обсуждать не будем, — заявил Николай.

— Как не будем? А Кафка?

— Никого обсуждать не будем. Врачи запретили.

— Семёныч, ну что за глупости?

— Клим, это не глупости. Татьяна Константиновна, милайшая женщина, между прочим, так и сказала: «Кукушкин, ещё одна стопка, и на следующий день профессор Бучерян будет демонстрировать вашу печень своим студентам».

— Это надолго? — спросил Аркадий и поправил очки.

— Да. Сказали, что минимум на три месяца.

— Ну это ни в какие рамки не лезет. Ты и так уже три недели пропустил, — Клим разом выпил рюмку и с громким стуком поставил её на стол.

— Друзья, простите меня. Знаю, я вас подвёл. Но так надо, понимаете?

Николай заглянул в глаза одноклубников и, не найдя там поддержки, молча направился к выходу.

В тот солнечный день весна показала всю свою волшебную силу. Деревья украсились свежими листочками, воздух наполнился сладким запахом цветущей сирени, и где-то вдали зазывала приглашал прокатиться на колесе обозрения. Парк шумел и гудел тысячами голосов, наполняя жизнью каждый свой уголок. Николай лёгкой походкой двигался в потоке праздной публики, держа в руке томик Маркеса.

— Посмотрите-ка, кто к нам явился! — Воскликнул Клим, увидев довольное лицо Николая. — Чё, Семёныч, пришёл проверить, жив ли ещё клуб?

Николай, не обращая внимания на ехидный вопрос друга, пододвинул свободный стул к столу и присел.

— Вы не представляете, какой я был дурак, — он сделал паузу, ожидая реакции на своё признание.

— Представляю, — съязвил Клим.

— Нет, не представляешь. Столько времени могло быть потрачено впустую, а ведь Татьяна Константиновна, умнейшая женщина, мне всё ясно и понятно объяснила, а я, дурак, не слушал.

— Коля, не тяни. Скажи, в чём дело, — занервничал Аркадий.

— Конечно, сейчас всё объясню. Она ясно сказала мне, что ждать надо три месяца. Понимаете? Три.

— Ну, понимаю, — подтвердил Клим. — До лета тебя не ждать.

— Ничего ты не понимаешь. Учитывая, что выписали меня пятого марта, а в марте тридцать один день, значит, три месяца это девяносто три дня, так?

— Ну допустим.

— А вот и не так. В больницу то я попал в феврале. Поэтому берём за основу не март, а февраль. Получается на девять дней меньше.

Аркадий быстро достал телефон, открыл календарь и стал считать дни.

— Двадцать восьмое мая, а сегодня только седьмое.

— Да подожди ты, дай договорить, — перебил его Николай. — Я тоже сперва по глупости так считал. Но потом подумал, а что если она имела в виду три месяца с момента последнего заседания клуба? Это ведь логично, а кто я такой, чтобы спорить с доктором?

Аркадий снова уткнулся в экран телефона, чтобы пересчитать дату.

— Седьмое! — торжественно объявил он.

— Вот именно, по своей глупости и невнимательности я чуть было не пропустил наше заседание.

— Вот это уже другое дело, — согласился Клим, наполняя рюмки.

— Предлагаю открыть заседание клуба тостом за наших докторов, и в частности за Татьяну Константиновну, — объявил Аркадий и зацепил вилкой солёный огурчик.

В тот майский день дождь лил с самого утра, а синоптики обещали к вечеру сильную бурю. Парк опустел, аттракционы не работали, но в кафе «Парус» было довольно много посетителей. Посреди главного зала разместили длинный стол, сервированный закусками и, конечно, выпивкой. Во главе стола сидела безутешная вдова, а справа и слева от неё — родственники, коллеги и друзья усопшего. У входа на небольшом столике стояла чёрно-белая фотография улыбающегося Николая.

Периодически звучали добрые слова в его сторону и сочувствующие — в адрес вдовы.

— Я знал Николая всего год, — взял слово высокий худощавый молодой человек в тёмно-синей рубашке. — Когда я пришёл в нашу компанию, именно он был тем, кто подставил своё плечо. Да, он любил выпить, иногда даже на работе, но при этом он был профессионалом своего дела. К тому же он был очень умным и начитанным. Помню, как мы часто спорили по поводу той или иной книги. И хотя я до сих пор не согласен с его оценкой творчества Фридмана, я всё равно с теплом вспоминаю те наши беседы. Покойся с миром, дорогой друг.

Сказав это, молодой человек залпом опустошил рюмку и закусил кусочком сала.

Когда поминки закончились, и гости стали расходиться, к молодому человеку подошёл Аркадий.

— Я вижу, вы увлекаетесь литературой, не желаете ли присоединиться к нашему книжному клубу? — спросил он.

Гости, неспешно и шурясь с непривычки, чёрной вереницей выходили из кафе. Дождь закончился, и солнце залило светом дорожки парка — синоптики опять ошиблись. Публика ручейками потекла к кассам аттракционов. Колесо обозрения мелодично зажужжало, продолжая свой обычный бег.

Анна Фенина¹

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС

рассказ

Осторожно ступаю по мшистым кочкам. Артёму кажется, что под ногами каменная грудь горы чуть не до центра земли, но я знаю эти места. Если лечь щекой на валун, услышишь слабый гул. Здесь полвека назад с лысых склонов сошёл оползень, завалил русло горной речки. Прогремел и успокоился, затаился на годы, оброс мхами и тонкими кривыми берёзами. Но поток не остановил. Смотри вверх — и увидишь торжество грубой мощи камня. Смотри глубже — и увидишь, как жизнь умеет продолжиться, течь дальше.

Артём молчит и идет впереди. Он все уши мне прожужжал, какой роскошный закат будет на высоте, и даже выпросил у отца старенький «Зенит». Тащил его поверх рюкзака в кофре с тремя объективами. Ведь каждый знает, что истинные романтики снимают на пленку. Но над головой хму-

¹ Писатель. Автор серии книг метафорических сказок для взрослых про Одну Девочку («Одна девочка собирала стаю», «Одна девочка тропу искала», «Одна девочка и Ба»), а также детских и нон-фикшн произведений. Лауреат литературных конкурсов, среди которых «Свободный взгляд» и конкурс литфестиваля им. Бельмасова, финалист международного конкурса «IL PARNASO» и премии «Дебют» издательства ЭКСМО. Была мастером-экспертом литературных форумов и фестивалей, в числе которых «Химки», Всероссийский лит. фестиваль им. М. Анищенко, «Посадский Экспресс», «Молодой Пушкин», Чеховский книжный фестиваль и др. Официальный гость и спикер фестиваля VKfest, книжной ярмарки Non/Fiction. Участник творческих резиденций в Переделкино и Тарту.

ро и судя по всему, ничего не изменится: солнцу придётся садиться в сизую сырость.

Мне тоже неуютно. Артем уже знает, что не впечатлил меня, и перестаёт стараться. Мы поняли, что разные, как шоссе и лесная тропа, еще на полпути к вершине. Там, внизу, я смотрела на него через приоткрытое сердце: ну мало ли, а вдруг? Он позволял. Он красиво говорил и выгодно вставал, чтобы солнце золотило его дикие, неумные кудри. Вытирал руку о штаны, прежде чем подать мне ее на подъеме. А когда до вершины оставалось примерно столько же, сколько и вниз, начал рассказывать свои «лесные истории».

— Мы вспороли ей брюхо сразу же, еще ствол не остыл, — чуть сбив дыхание, говорил Артем. — А там — поросята у неё, прикинь? Еще шевелились. Я отцу говорю: «Ободрать и на шампур! Гостей позвать, и путь угадывают, что это». А отец мне: «Лучше в капусту целиком замотаем, голубцы получатся!» Полчаса сгибались от смеха! А потом пришлось тушу бросить, жаль. Бежали к машине от егеря, разрешения-то на охоту не было!

Таких историй было много, одна жутче другой. Сначала меня трясло, и я спрашивала: «Зачем вы это сделали? Почему ты так легко об этом говоришь?». Потом просила сменить тему. А потом просто крикнула «Хватит!» — и убежала вперёд. Он догнал. Хмуро и неуверенно сказал, что не хотел бы потерять на горе такую красавицу. Я не ответила. Он молча пошел за мной.

До вершины оставалась пара часов, можно было бы легко дойти без остановки. Но Артём уселся в мокрый мох и полез в рюкзак, достал два бутерброда в фольге. Не предложил присесть рядом, не снял свою куртку, чтобы заботливо накинуть мне на плечи, как обязательно делал каждый раз при наших встречах внизу.

Сажусь рядом, но тут же вскакиваю: острый камень. «Будешь?» — Артем взмахивает в мою сторону бутербродом, глядя куда-то сквозь меня. «Спасибо, мне проще лезть на пустой желудок». Он пожимает плечами, складывает два бутерброда друг на друга и начинает есть.

Я отхожу подальше к неширокой стене елей чтобы вытряхнуть лесной мусор из ботинок и переклеить пластыри. Там будто поровнее и посуше. Заодно побуду немного одна. Правду говорят — в горах человека насквозь видно. Я не прогадала со свиданием. Теперь я вижу Артёма плоско, как чертеж. Я даже знаю, что сказать и что сделать, чтобы он ожил. Снова посмотрел на меня с интересом. Запустил пятерню в свои кудри и расчесал их, не отрывая от меня взгляд. Боже, это чертовски привлекательно!

Отодвигаю руками колючие ветви и прохожу вперед за деревья. Прячусь. А стоит ли? Ведь я прямо сейчас могу вернуться к Артёму, присесть рядом, положить руку на его ладонь и извиниться за свою резкость. Сказать, что волнуясь, признаться, что давно одинока и забыла, каково это — выстраивать отношения. Несколько раз покивать, прилгнуть к плечу. Потом отстраненно слушать его рассказы, вовремя улыбаясь. И тогда мы спустимся с этой горы парой. Наконец-то на мамином или дядином дне рождения, где соберется вся семья, я перестану быть «тикающими часиками», предъявлю своего собственного, такого красивого, фантастически кудрявого мужчину. Он познакомит меня со своими друзьями-спортсменами, их подружками, папой-охотником...

Вот еловые лапы схлопнулись за спиной, я поднимаю глаза и вижу... другие. Огромные, карие, с черными ресницами на коричневой морде. Морда кивает дважды, и я замечаю рога. Лось!

Стараясь оторвать взгляд от этих ресниц, осторожно пячусь обратно за ствол ели. Страха, как ни странно, нет. Только слова дедушки-лесничего звучат в голове: «И главное, ни звука. Он не медведь, шума не побоится. Даст Бог — дальше по своим делам пойдёт».

Лось водит ушами, шевелит плюшевым носом. Его шерсть покрыта капельками влаги, копыта тонут во мху. Мне хочется подойти к нему, прикоснуться рукой к сильной шее и обнять. А он бы положил морду мне на спину, как в добром мультфильме, зажмурил глаза от неги... Но я не двигаюсь с места, только вдруг, забыв дедушкин завет, спрашиваю лося:

— Стоит ли оно того?

И лось внезапно качает головой из стороны в сторону, трясет рогами, а на ноздре вскипает маленький пузырик. Но прежде, чем я пугаюсь, лось разворачивается, всхрапывает и медленно уходит прочь.

Тихо, будто из-за поролоновой стены, слышу Артёма. Он поел и предлагает не тратить время на то, чтобы лезть до самого верха, и потом ночевать на горе. Говорит, что если пойдём вниз прямо сейчас, то может быть успеем на последний автобус.

А впереди мой лось качается коричневым пятнышком в сумраке редкого леса, удаляется в своё царство. Я до последнего смотрю ему вслед, не отвечая Артёму. Артём без ружья, но я уже знаю: он увидел бы в этой встрече опасность, страсть и вызов. Я же увидела ответ.

— Ты прав, — говорю, возвращаясь. — Не стоит здесь ночевать, того гляди польёт. Давай так и поступим, спустимся. Это мудрое решение.

Лицо Артёма чуть смягчается, в глазах сквозит недоверие. Он медлит, затем улыбается и чуть подаётся ко мне, а я...

Я тоже улыбаюсь. И говорю «спасибо», тепло и искренне. То ли Артёму, а то ли ещё кому-то. Беру свой рюкзак и неторопливо спускаюсь. Трогаю узловатые стволы берёз, нагибаюсь и рву прямо ртом влажную кислицу, кладу в карман шершавую шишку. Уже через час Артём подгоняет меня, пугает, что последний автобус ждать не будет. Повторяет это несколько раз. Заводится. Внезапно бросает в мою сторону обидные слова. Убегает вперёд.

Но, как я и говорила, я знаю эти места. Этот последний автобус уйдёт и, возможно, с Артёмом. А я заночую одна в хостеле у вокзала. Мне будет зябко и грустно, я нашупаю в кармане шишку, сожму её, чтобы впечаталась в кожу, и захочу порыдать. И, может быть, смогу сделать это тихо, чтобы не разбудить соседей.

Но наступит новый день. И, честное слово, я пойду на вокзал, не спеша, и сяду в ту маршрутку, в которую захочется. И больше никогда не буду бояться опоздать на последний автобус, никогда. Не буду, слышишь, лось?

Ольга Капитова¹

КАМИН
рассказ

— Далеко ещё?

— Минут двадцать.

— Двадцать?! Час назад пятнадцать было! Мы, вообще, в ту сторону идём? Зачем мы, вообще, вышли из машины?

Витя хотел что-то ответить. Набрал в грудь воздуха и развернулся всем корпусом к Насте. От резкого движения левая нога подвернулась. Витя упал, смущённо хохотнул и тут же вскочил, но сразу охнул и снова опустился на снег. Щёки его побелели, затем пошли красными пятнами. Над верхней губой выступила испарина.

Настя по инерции прошла ещё несколько шагов, потом остановилась, повернулась к Вите и нерешительно замерла, переминаясь с ноги на ногу. Витя попытался улыбнуться, но вместо этого скорчил болезненную гримасу, неловко перевалился на бок и обеими руками ухватился за голень.

Камин, наконец, разгорелся. Комната сразу стала уютной, словно все неприятности этого дня расплзлись по углам, напуганные потрескиванием дров.

¹ Родилась в г. Алматы, Казахстан. Выпускница ОЛША и онлайн-курса «Литпрактикум» Ильи Одегова. Финалист литературного конкурса им Ибрая Алтынсарина (2023), лонглистёр литературного конкурса «Черная весна» (пишукнигу.рф, 2020) и премии Qalamdas 2023—2024. Публиковалась в литературных онлайн-журналах и сборниках Казахстана и России. Проза переведена на немецкий язык.

Приятное тепло разлилось по телу Антона. Он хотел сладко потянуться, но сдержался. Антону уже было стыдно за свою недавнюю вспышку.

— Ленк, — сказал он, снедаемый желанием тотчас же с ней помириться, — ну чё ты, Ленк.

Та стояла у окна, отвернувшись к стеклу. Антон приблизился, ступая как можно тише, словно боялся заглушить успокаивающие звуки камина. Ленка не оборачивалась. Тогда он осторожно положил руку ей на талию. Ленка то ли всхлипнула, то ли вздохнула и послушно склонила голову к нему на плечо. За окном продолжал кружиться легкий снежок.

Так они стояли, пока со стороны камина не раздался резкий, особо громкий щелчок. Антон заморгал, словно только что очнулся ото сна, и посмотрел на часы:

— Ох ты ж, уже пять. Они давно должны были добраться. Неужто Настька уговорила-таки Витьку вернуться домой. Вот, курица. Да и он тоже, хорош — ну, просто классический подкаблучник, — тут Антон спохватился и смущенно посмотрел на Ленку.

— Нет, не могу. Ты вешишь, как медведь.

— Говорю же, иди сама. Вернётесь за мной на машине. Делов-то. Тут, правда, совсем недалеко. Должно быть. Давай, иди уже, а то темнеет быстро.

«Ну как я попрусь в одиночку по этой лесополосе, которая никакая не полоса вовсе, а самый настоящий лес. Возможно, с волками», — Настя поёжилась, но вслух сказала:

— Я поначалу боялась, что мы тут замерзать начнем. А сейчас мне уже совсем не холодно. Даже вспотела слегка, — помолчав, она добавила, — я всё представляю, будто мы уже дошли. Потрескивают дрова, а мы с тобой сидим на медвежьей шкуре близко-близко к огню.

— Ага, и снежинки кружатся за окном. Блин, а ведь, и вправду, снег начинается. Этого ещё не хватало. Всё, Настюх, шутки кончились. Дуй одна. А то совсем, нафиг, замётёт.

Но Настя уже и сама поняла, что как ни крути, других вариантов нет. Она очень внимательно выслушала Витины указания, стараясь запомнить все приметы. Было тревожно. Сбиться с пути означало остаться в лесу одной. А скоро ночь.

«Ну зачем мы поехали в эту глушь? Ни тебе указателей, ни мобильной связи. И что меня дёрнуло сцепиться с Антоном. Хотя, он всё-таки мог бы и извиниться. Такое впечатление, что он специально нас сюда завёз. А что, если так и есть? Да нет. Не может быть. Просто нужно было уломать Витю вернуться. А не тупо переться в этот домик. Раз уже в дороге с Антоном сцепились, то и дальше ничего хорошего не жди». За этими размышлениями Настя не заметила, как совсем стемнело. А она всё шла и шла. Снег валил уже сплошной стеной. Она давно бы повернула назад, но понимала, что, скорее всего, обратного пути теперь тоже не найдёт.

— Не, нельзя же сидеть и ждать. Надо что-то делать.

— А что ты сделаешь? Сядешь за руль и будешь тупо колесить по округе, пока не заглохнешь где-нибудь в сугробе?

— Я буду сигналить. Или они выйдут на свет фар. Или...

— Или не выйдут. А что, если они вернулись в город?

— На своих двоих?

— Может, попутку поймали.

— В такую погоду? Это вряд ли.

— Когда они вышли, была нормальная погода.

— Давай так — ты останешься в домике и будешь следить, чтобы не погас камин, а я сделаю пару кружочков тут поблизости.

- Я не останусь одна.
- Ну так поехали.
- В этом ты весь — сам все заварил, а расхлебывать вместе.
- Что это я заварил, интересно знать?
- Что-что? Поцапался с Настей, вот что. Да ещё и на меня наорал.
- Что теперь об этом. Я ж не думал, что она вот так просто среди леса из машины выскочит. Ну, ты идешь?

Настя сидела на рюкзаке и острой сучковатой палкой, которую сама не помнила, где и зачем подобрала, чертила на снегу круги и линии. Ей непременно хотелось нарисовать солнце. Перчатки давно намокли. А Настя совсем не ощущала ни холода, ни страха. В темноте, конечно, невозможно было разглядеть рисунок. Но Настя и так знала, что вот он — круг, а вот тут — лучики. Осталось пририсовать снизу волны — это будет море, по которому поплывет парусник. Белый-белый парусник. Точно такой рисунок висел в Настинной комнате. Прямо над кроватью. И тут Настя явственно увидела, что сидит на этой самой кровати. Рядом на коврике мурлыкала Фырча, в углу потрескивал электрокамин. В комнате пахло мандаринами. А где-то там, за окном, сыпал легкий снежок.

Насте стало тепло и уютно. Она знала, что сейчас заснет. Но Фырча вдруг перестала мурлыкать и начала реветь, словно она не маленькая трёхцветная кошечка, которая приносит счастье, а огромный тяжёлый внедорожник. Нестерпимо яркий свет больно ударил по Настинным глазам, она обиженно вскрикнула и закрыла лицо руками.

Тимур Нигматуллин¹

КАК БОББИ ФИШЕР

рассказ

Жена пришла с тренинга. То ли «Бизнес-Молодость» повторялась, то ли «Синергия» началась... Суть не в этом. После каждых таких курсов взрыва активности у неё не занимать. На роту лентяев хватит. Роты у нас дома нет, а есть я: одинокий дезертир с фронта трудовой повинности и в силу сложившейся среднеазиатской финансовой засухи так и не успевший прожечь остаток жизни на шикарных пляжах Коста-Брава. В общем: молодой бай в полосатом халате посреди пыльной Астаны.

— Мало работаем, — говорит она, — очень мало. Надо больше. Вот мы во сколько встаем?

— Ты в шесть, я в девять, по выходным — в десять. А во сколько надо?

— А надо в пять утра. Трамп встаёт в пять, его помощник — в полпятого, а Илон Маск — в четыре!

— Надо же, — удивился я, — Ленин тоже в пять вставал, сразу садился новые языки учить, Бонч-Бруевич уже рядом сидел, записывал, как тот рано встаёт, а Феликс вообще

¹ Родился в г. Целиноград в 1980 г. Окончил железнодорожный техникум, Академию Транспорта. Учился на трех ступенях литературной школы Ильи Одегова «Литпрактикум» (2018–2021 гг.) и в литературной мастерской Алины Гатиной «Литкласс» (2021 г.). Автор романов «Я не вру мама» (лонг-лист премии «Рукопись года» издательства АСТ Астрель Спб. 2020 г., лонг-лист «Русской премии» 2024 г.) и «1916. Волчий кош» («Фолиант», 2023, шорт-лист премии «Меценат»). Повести и рассказы публиковались в журналах «Дружба народов» и «Дактиль». Живет в п. Талкара, Акмолинской области.

не ложился.

— Какой Феликс?

— Железный. Минут пятнадцать вздремнёт, да и то, чтоб маузеру дать остыть, и снова за работу.

Жена сердито посмотрела на меня. Когда она сердится, кончик носа чуть-чуть вниз опускается. Она не знает об этом, а мне нравится её сердитая фишка.

— Причем тут твои коммунистические идолы и self-made?

— Последние это кто?

— Успешные люди мира всего, — сказала она, передразнивая в рифму, — идеология у них разная, как ты не можешь понять?

Ладно, думаю, действительно, наверное, трудно сейчас тех, прошлых кумиров, рано встающих, на новую поросль недосыпающих наложить. Идеология, может быть, и разная, да методы рабства одинаковые.

— Какого рабства? — не поняла жена, — ты опять, что ли, сам про себя думаешь?

Видать, «рабство» в слух проговорил. Дурацкая привычка, никак не удаётся вовремя переключиться от внутреннего содержания к рекламной обложке.

— Вслух. Так что задали?

На курсах им всегда задают что-то дома сделать. То считать без калькулятора, то, как в фильме «Два капитана», предметы за минуту запоминать. Скорее всего, по старым учебникам шпарят. Нам так в пионерском лагере ещё задавали.

— Шахматы, — сказала она, — у нас же дома есть. У тебя в рыбацком рюкзаке видела. Сейчас руки помоем и начнём.

Я достал шахматы. Расставил фигуры. Повернул к жене белые.

— Нет, — сказала она, — тренер говорил, что по-честному надо разыграть.

Она схватила с доски две пешки и зажав их в ладошках увела за спину.

— Какую?

Я указал на правую руку.

— Тебе белые. Ты начинаешь! Ходи!

Сделав умное лицо (просто нахмурил брови), я подвинул пешку на С4.

— Вот и вся твоя демагогия наружу и вылезла, — сказала жена.

— Почему?

— Да потому что по всем канонам шахматной игры, которая является одним из столпов математики и бизнес-планирования, это ход в никуда. В шахматах, как и в бизнесе, все ходы наперёд просчитаны, — жена толкнула черную пешку на Е5, — ходы белых начинаются, — она заглянула в лежащую рядом с доской открытую тетрадь с конспектом бизнес-тренинга, — с Е2 — Е4.

— Кто тебе это сказал self-made?

— Это все знают!

Матч закончился матом королеве.

Ночью, лежа в постели, жена задумчиво спросила:

— Почему ты начал пешкой на С4?

— Я начал, как Бобби Фишер в шестой партии.

— Тоже из коммунистов твоих? Друг Ленина?

— Нет, далеко не друг.

— А кто он?

— Один из тех, кто совсем не спал, — улыбнулся я и, пожелав спокойной ночи, выключил светильник.

БАЛЕРИНА

рассказ

Она дождалась, когда моя жена пойдёт за кофе, и сразу подсела на лавочку.

— Смотри, — сказала она, задирая до колена брюки, — у меня красивые ноги. У твоей тоже красивые. Длинные. Но у неё не потомственное. Как сорняк выросли.

— А у тебя? — удивился я.

— Моя мама — казахская балерина. Лучший лебедь прошлого века. Будешь трогать?

— Вы хотите, чтоб я потрогал ваши ноги? — спросил я и оглянулся на стоящий в глубине парка ларёк, в котором набирала кофе моя жена.

— Я хочу в Бакурешт, — девушка вытянула ноги вперёд и поиграла икрами, — а сейчас должен хотеть ты. Нравится?

— Красиво, — согласился я, — спортивно. Занимаетесь?

— В сборной, — она встала с лавочки и начала раскачиваться с одной ноги на другую, по типу гимнастического упражнения на растяжку. Затем запрыгала поднимая руки вверх.

— Черлидер. Слышал про таких?

— Видел в кино, — ответил я, наблюдая за прыжками.

Размявшись, она стала махать ногами, задирая выше моей головы свои белые на толстой подошве кроссовки. Скакала она и впрямь профессионально. То поджимала колени, то крутила бёдрами, то вдруг наклонялась вперёд и качала грудями под ритм своего танца.

— Так что? — не прекращая скачков, спросила она, — поедем? Я и не такое умею. Сейчас как юла буду, — сняв цветастый платок, она взмахнула головой, и копна чёрных волос сползла на её плечи, — поедем?

Жена вот-вот должна была вернуться из ларька с кофе. Народ, проходящий по аллее парка смотрел на нас, и мне казалось, что со стороны мы выглядим, как герои сказки Андерсена. Девушка в облегающей майке, с подкатанными до колен спортивными брюками крутится перед стойким оловянным солдатиком. Играет музыка. Какой-то грустный, прощальный вальс. Ветер гоняет тополиный пух, и белые

хлопья кружатся вслед за волосами танцовщицы. Чья-то невидимая рука всё сильнее и сильнее раскручивает волчок, затаскивая в белоснежный хоровод воронки: парк, солдати-ка, ларёк, кофе...

— Вот тут галочку надо поставить, — подсказывает она мне, шепча на ухо, — Изабела. Два «З». Город Бакурешт. Нет такого? Вот же. И ты. Я без тебя не полечу.

— Ещё покрутись!

— В кредит попробуй. А я покручусь для тебя. Кредит тревел. Авиабилеты в долг. Бери без багажа. Обратного не надо. Мы там останемся жить. К черту этот город, это кофе, этот пух. Ты и я. Дунай нам будет щекотать пятки.

— Проверяют. Минуту ждем и летим. А ты крутись. Я так люблю, когда твои волосы закрывают мир.

— Быстрее. Твоя идёт. Ты слишком много думаешь.

— Успеем. Мир — это юла, его всегда надо раскачивать, иначе все рухнет. Крутись.

— Сам крутись, придурок. Давай быстрее. Сейчас всё действительно рухнет. Быстрее, дураааа...

На лавочке жена первым делом согнала птицу.

— Ладно бы голубь. Но чайка. Фу. Орёт так противно. Тебе американо. Мне капуч. Откуда они прилетели?

— Чайки? Башаны зарыли, вот и маются. На помойках пишу ищут.

Жена молча кивнула и, увидев открытую на моей сотке страницу Каспия, спросила.

— Утром был Тбилиси. В обед — Сантадер. Час назад говорил про Макинку. А сейчас Румыния. Там что мы делать будем?

На вкладке приложения были открыты билеты. Каспий просил подтверждения списания денег.

— Похоже на побег, — сказала она, отпивая капучино, — но я согласна. Говорят, румыны похожи на нас. У тебя нет знакомых румын случайно?

— Есть, — посмотрев на шатающую рядом с урной чайку, сказал я, — Чаушеску.

Жена, допив капучино, поднялась с лавочки и, раскинув руки по сторонам, закружилась. Тополиный пух кружился вслед за ней всё выше и выше, поднимаясь в небо.

Рустем Аламанов¹

МАГАЗИН СЛАДОСТЕЙ

рассказ

Прошлой ночью город опять бомбили. Пару снарядов взорвались совсем рядом, превратив лавку Амира в груды мусора, но нашему магазинчику повезло. И когда я говорю «повезло», то имею в виду, что это действительно какое-то везение. Потому что когда я пришёл с утра, обнаружил лишь пару небольших трещинок на витрине. И всё.

Мустафа, мой босс, кажется, нисколько не удивился. Он, хоть и стар, но умом ещё не тронулся. Он всегда говорил, что наш магазинчик сладостей спасает жизни. Не в прямом смысле, конечно, но вы понимаете, что я имею в виду. А сейчас так и вовсе не устаёт повторять, что всё это не просто так. Интересно, сколько веры уходит на такие слова?

Каждый день к нам прибегают толпы детишек со всего города. Они рассматривают витрину и ждут, когда выйдет Мустафа. Он, как великий волшебник из старых сказок, внимательно слушает их рассказы и подбирает для каждого свою конфету. По цвету и форме, а главное — подходящую под их запросы. Денег не берёт, но каждому даёт лишь по конфете, не больше.

«Эта, — говорит он, показывая на ярко-зелёный леденец на палочке, — поможет тебе быстрее бегать».

¹ *Казахстанский писатель, автор трех книг, коммерческий редактор. Выпускник двух онлайн-курсов «Литпрактикум» Ильи Одегова. Лонглистёр премии «Лицей». Публиковался в литературном журнале «Юность». Специализируется на постмодернистских рассказах, которые исследуют особенности повседневной жизни через призму абсурда и иронии.*

Или поднимает красную мармеладку в форме сердца и говорит: «Эта поможет забыть все печали».

«А вот эта, — он достаёт оранжевого мишку из желе, — сделает тебя бесстрашным».

И дети верят ему.

Их глаза горят.

Иногда мне кажется, что если бы я мог так же, как все эти дети, верить в магию конфет, то мир вокруг казался бы гораздо лучше. Но, видимо, для этого нужно быть не таким замороженным, как я. Да и сложно верить во что-то хорошее, когда каждый день в твоём городе рвутся бомбы.

Но я заметил вот что. Каждое утро, когда я открываю магазинчик, мир мне кажется чуть менее суровым, чем он есть на самом деле. Я, конечно, всё понимаю, да и война вокруг не утихает ни на минуту, но здесь, в стенах нашего магазинчика, посреди всех этих детей с счастливыми глазами, всё плохое как будто отступает.

На прошлой неделе к нам заходила малышка Лейла. Она подошла к прилавку и тихонько сказала, что хочет конфету, которая заставит её папу вернуться домой. Я посмотрел на Мустафу и увидел в его глазах боль, но он не показал её девочке. Лишь улыбнулся, взял одну из конфет — золотую, с блёстками, как звёзды, — и вручил ей со словами, что эта самая волшебная конфета в его магазине и что она может исполнить самое заветное желание, надо только сильно захотеть этого. Лейла улыбнулась, взяла конфету и счастливая побежала домой. В тот момент её улыбка была самым светлым событием за день.

Или вот на прошлой неделе. Приходил к нам Самир. Парень, знаете ли, каких мало. Добрый и умный, но наивный до глупости. Он пришёл к Мустафе и сказал, что хочет видеть будущее, чтобы узнать, когда война закончится. Старик дал ему шоколадку с орехами в золотой фольге и сказал, что это конфета для мудрецов и тех, кто хочет ими стать.

Самир съел её прямо там, у прилавка. На следующий день вернулся и сказал, что видел сон, в котором он стал инженером и посреди города построил здоровенный мост, по которому людям будет проще покинуть город. Мне это показалось глупым — какие мосты посреди пустыни? — но глаза мальчика искрились от счастья, поэтому я лишь порадовался за него. «Всё будет хорошо», — сказал он в конце и побежал домой.

Ещё был Халид, парень, что приходил за конфетой, чтобы лучше учиться. И вот вам раз, через месяц он уже лучший ученик в классе. Совпадение? Может быть. Но когда видишь это день за днём, поневоле сам начинаешь задумываться о том, что, может, в этих стенах и правда живёт волшебство. Ведь магазинчик Мустафы полон таких историй.

По вечерам, когда мы закрываемся, Мустафа часто рассказывает о своей молодости, когда он только открыл это место, а «на голове у него ещё были волосы». Он всегда любил сладкое и верил, что сможет изменить мир. Хотя бы тот, что окружает его самого. «Джамаль, — сказал он как-то, — ты сам выбираешь верить в чудеса или нет, и этот выбор изменит всё вокруг».

Я постоянно прокручиваю в голове эти слова, пытаюсь понять, верю ли я сам в то, что мы делаем. Да, я видел множество улыбок и радостных моментов, которые эти конфеты приносят детям. Но верю ли я, что они действительно что-то меняют? Или это всё лишь мимолётные моменты, которые скоро забудутся? Не знаю. Хочу надеяться, что мы делаем мир хотя бы чуточку лучше.

Наталия Тартаковская¹

БЕЛКА

рассказ

Много лет прошло со времени моего детства, а память о его звуках, красках и запахах свежа. Воспоминания приходят внезапно и порой кажется, что все то, что вспомнилось, было только вчера. И все те, кто вспоминается, были рядом еще совсем недавно.

И Белка тоже.

Белка была дворняжкой, живущей у нас во дворе. Она была на удивление красива, хотя все её стати по отдельности были достаточно ординарными — похожая на лайку, беленькая, пушистая, пропорционально сложенная, она была очень аккуратной, чистенькой.

Розовый язычок, белые зубы очень украшали её задорную мордочку с синевато-чёрными, как чернослив, глазами и черной пуговицей носа.

Все дети любили Белку, не обижали её, подкармливали, кто чем мог, и она любила всех — так радостно она махала своим пушистым хвостом, так подпрыгивала и взвизгивала при виде своих друзей, что не улыбнуться в ответ и не погладить по аккуратной голове с треугольными ушками было просто невозможно.

Куда бы мы, свора ребятни, ни бежали, куда бы ни зале-

¹ Родилась в Алма-Ате в 1958 году, окончила юридический факультет Казахского государственного университета. Пишет рассказы о жизни Алма-Аты и ее обитателей. Ее герои — «маленькие» люди, живущие на фоне исторических событий последних пятидесяти лет. Рассказы автора публиковались в журналах «Дактиль» и «Аврора».

зали — везде сопровождала нас наша хвостатая подружка. Её компания была привычной, её присутствие — непременным, обращались с ней, как со всеми остальными:

— Ты, Белка, дура, молчи, мы же прячемся!

И невпопад гавкнувшая Белка замолкала, прижавшись к залегшим в арыке партизанам.

— Ты, Белка, не умеешь прыгать через скакалку — отойди!

Но Белка пыталась со всеми и через скакалку.

При этом, никому из нас не приходило в голову узнать, что же делает Белка после того, как матери загоняли своих чад по домам, где она спала ночью, где пряталась от холода, что ела помимо наших подачек и ела ли вообще, если мы забыли вынести ей остатки своего обеда. Дети — что скажешь!

Как-то Белка пропала. Ещё была зима, было холодно, и Белка больше не встречала нас во дворе. Мы стали искать её, но вскоре она пришла сама, похудевшая, застенчивая, махала хвостом, звала за собой и привела нас, троих подружек, за дом, ограничивающий заводской двор.

За этим домом начинался другой мир, состоящий из маленьких домишек, покосившихся заборов, похожих на деревенские улочек. Там, в боковом скате большого глиняного арыка, в пещерке под корнем дуба пищали малыши — шестеро ещё слепых толстых бутузов, прелестных плюшевых щенков, белых в черный горошек.

Мы тискали их, целовали в нежные бархатные мордочки, любовались розовыми брюшками и подушечками лапок и засовывали их обратно, в теплое пахучее пространство глубокой глиняной пещерки.

Белка доверяла нам, не беспокоилась, только улыбалась и заглядывала в глаза — казалось, спрашивала, нравятся ли нам её дети.

Мы стали кормить Белку прямо там, у пещерки, чтобы она не оставляла своих малышей одних. Договорились ни-

кому не говорить о щенках — вдруг кто-то обидит или разорит гнездо.

Весной случилось так, что талая вода залила арык и хлынула в пещерку. Белка стала визжать, звать на помощь и мать одной из нас, Лены, заметив из окна беспокоящуюся собаку, спасла щенков.

Но, не желая обременять себя, не нашла ничего лучше, чем принести их ко мне домой.

Так они и встретили меня, когда я вернулась из школы — шестеро неуклюжих толстячков и улыбающаяся Белка. Сестра разместила семейство на старом одеяле перед дверью в кладовку, которой заканчивался коридор.

Наша квартира на первом этаже была задумана как коммуналка, хоть и жила в ней лишь наша семья. Коридор был длинный, большой, из него двери вели в комнаты, а в торце коридора — большая, как комнатка без окон, кладовка.

В неё закладывали несезонные вещи, открывали редко, поэтому собачьему семейству было достаточно комфортно. Со временем щенки подросли, и мы раздали их «в хорошие руки».

Помню, что я была уверена в том, что щенки действительно попали к хорошим людям, и угрызения совести меня не мучили. Тогда я даже не догадывалась о том, что подросшие дворняжки, как правило, изгоняются из домов, где ими тешились, пока они были симпатичными неуклюжими щенками.

Белка тоже была уверена в счастливой судьбе своих детёнышей, по крайней мере, тоски по детям не проявляла.

Она осталась жить у меня. По всей видимости, микробы в то время ещё не существовали — продолжавшая пользоваться полной свободой Белка целыми днями носилась по улице, домой приходила только на ночь, заваливаясь

спать на голубое одеялко, постеленное в коридоре. При этом собачка всегда сохраняла свой чистенький вид, ни чем не болела и моё здоровье не подрывала.

Постоянно отбираемые у меня в школе анализы стабильно показывали отсутствие гельминтов, и мама никогда не пугала меня инфекцией.

Белка органично вошла в нашу жизнь, она не требовала к себе особого внимания, какого требуют её породистые братья — никакого тримминга, стрижек, особого корма, специального оборудования, жила себе рядом с нами, радовалась миске с едой и голубому одеяльцу.

Правда, прививки я делала ей исправно, завела у ветеринара специальный собачий паспорт, и на шее у Белки всегда висел специальный собачий номерок, который символизировал легитимность её существования и отличал Белку от её безхозяйных товарок.

Помню, как один раз она насмешила нас — сестра вымыла собаку, вытерла полотенцем и выставила из душевой, сама оставшись там.

Она любила мыться долго, напевая под струйками воды и не любила, когда её торопили, почему производила все эти помывочные процедуры поздно вечером, когда все уже спали.

Страшный крик поднял нас с мамой с постели. Оказывается, сестра в темноте прошла к кровати и закричала от неожиданности, увидев, что в ней кто-то шевелится. Мы зажгли свет — в постели, блаженно растянувшись, лежала чистенькая Белка. Увидев нас, она даже не попыталась уйти из постели, так и лежала, улыбаясь, помахивая хвостом, головой на подушке, уверенная в своем праве находиться там.

Тогда-то я и поняла, что Белка была тем самым щенком, с которым нянчатся, как с куклой, а потом, когда он вырастет, выгоняют на улицу.

Соседский парень Сергей закинул Белку в форточку, когда нас не было дома. Соседи рассказали нам, что видели его, как он лез в окно.

Мама стала спрашивать его, зачем лазал, что хотел.

— Теть Руфа, я видел, что Белка домой хочет, а вас не было дома.

Сергей был парень пропащий, сильно пил, но был добрым, любил собак и детей.

— Ну, ты и дурак, — сказала я, — а если бы тебя милиция забрала? Подумали бы, что ты вор?

— Это что такое? — возмутилась мама. — Ты как взрослому человеку можешь говорить «дурак»? А ну-ка, извинись сейчас же и чтобы больше я такого не слышала!

В те времена взрослые для ребёнка были вне критики.

Как-то, возвращаясь из кинотеатра «Целинный» через Никольский рынок мы — три подружки — набрали сумму, достаточную для покупки маленького крольчишки.

Крохотный белоснежный пушок стоил полтинник. Я внесла за него львиную долю — тридцать копеек, но Лена настояла, чтобы кролик жил у неё.

— Это справедливо, — сказала Таня, — ведь у тебя живет Белка.

Но, как и следовало ожидать, к вечеру кролик в коробке с травой уже был у меня — чисто плотная мать Лены выгнала её из дома вместе со зверушкой. Обратного соглашения взять только дочь.

Тане, дочери врачей, кролика не разрешили даже брать в руки. Ушастик остался жить у меня. Моя мама принимала всех, кто нуждался в пище и крыше над головой.

Я до сих пор вспоминаю нежного и умненького Пуху. Стоило мне сесть за стол, как Пуха тут же вставал рядом «столбиком», нетерпеливо перебирал мягкими передними

лапками и просился на руки. Попад на колени, он, в зависимости от настроения, либо блаженно растягивался, скорее даже расслаблено растекался, вытянув лапки и уткнувшись усатой мордочкой мне в живот, либо, встав на задние лапки, передними упирался в край стола и тщательно изучал, что такое мы там едим. Его розовый носик быстро-быстро двигался, принюхиваясь.

Пуха был настолько нежным, что его розовое тельце просвечивало через мягкий пух, ему постоянно было холодно, и он всё время находился в поиске чего-нибудь тёпленького, к чему можно приткнуться и согреться.

Так и вышло, что самое подходящее место для него нашлось под боком у Белки.

Спали они теперь только в обнимку — Пуха прижимался к брюшку собаки, а она обнимала его передними лапками. Со временем они перестали разлучаться и в период бодрствования, когда Белка находилась дома.

Пуха даже ел вместе с ней, вытаскивая из её миски подходящие для себя кусочки.

Когда Пуха грыз морковку, Белка тоже присоединялась, откусывая от корнеплода понемножку.

Только на траву «резучку», которую Пуха любил, Белка косилась с непониманием, но в целом у них было полное согласие.

Конечно, издержки были — тщательное вылизывание Белкой Пухиного нежного тельца привело к тому, что шейка его стала совсем голенькой. Синевато-розовая кожа выглядела прямо-таки душераздирающе, но уход и гигиена в Белкином понимании требовали жертв.

Нежная дружба закончилась трагически.

Впечатлительный Пуха всегда был очень нервным, во сне он часто вскрикивал и вздрагивал. Как-то ночью,

увидев, по всей видимости, страшный сон, он вскочил и стремглав помчался по огромной тёмной квартире с пронзительным повизгиванием. Белка, почувствовав, что с её приемышем что-то неладно, понеслась за ним с истошным лаем. Этого Пуха вынести не смог и скончался от разрыва сердца.

Белка отнесла тельце кролика на голубое одеяльце, положила себе под бочок, пытаясь согреть, яростно вылизывала малыша, но все было тщетно.

Пулу похоронили в палисаднике под окном. Белка страдала из-за потери пушистика так отчаянно, что сердце разрывалось при виде её горя. Она скулила, бродила по квартире в поисках своего дружка, клала тоскующую мордочку ко мне на колени и заглядывала в глаза, ища сочувствия. Я удивлялась тому, что потеряв своих малышей, Белка не страдала так, как она горевала по крольчишке.

Успокоилась она лишь спустя много времени.

В школе учительница выставила меня перед всем классом.

— Посмотри на себя, Павлова. Фартук мятый, весь в белом пуху. Белые манжеты на форме отсутствуют. Это всё из-за животных. Животных держат дома только неряхи. Животные — разносчики инфекции. Как только твоя мама, такая красивая женщина, терпит дома всю эту гадость? Я надеюсь, что сегодня, после того, как весь класс смеялся над тобой, ты выбросишь из дома всех этих зверей и станешь аккуратной девочкой.

Каждый день рано утром Белка выходила на улицу вместе со мной, встречала моих подружек радостным помахиванием хвоста и веселым повизгиванием и провожала нас в школу.

Доведя нас до школьного крыльца, она возвращалась во двор и ждала нашего прихода. Как она переходила дорогу, как добиралась до дому одна — мы не знали.

Встречая меня, возвращающуюся из школы, она вставала на задние лапки от радости, улыбалась, показывая свой нежно-розовый язычок, махала хвостом. Больше она не расставалась со мной — до следующего утра.

Да, вот такая я была девочка, неправильная, проводящая всё свободное время с собакой, но никто никогда не мог мне доказать, что общаться с Белкой — плохо.

Я её любила. Очень.

Это утро я запомнила на всю жизнь. Мы шли в школу, как всегда, вчетвером: три подружки и Белка. Тротуар, по которому мы шли до перекрестка, с одной стороны ограничивался длинным трехэтажным домом, а с другой сплошной стеной тянулся аккуратно подстриженный кустарник, живая изгородь, превышающая наш рост и закрывающая дорогу.

Вот из-за этой из-за этой-то изгороди, с треском раздирая кусты, и появился, молча перегородив нам дорогу, страшный красномордый мужик в кирзовых сапогах и ватнике, державший в жутких огромных ручищах нечто провололочное, петлеобразное.

Мы, как по команде, повернулись назад — но дорога назад была отрезана таким же чудищем.

Три маленькие девочки и собака замерли на тротуаре.

Страшная опасность нависла над нами и мы, дети, не могли распознать, кому угрожает эта опасность — всем нам или кому-то из нас отдельно.

Ещё мгновение — и Белка взлетела, как птица, на провололочной лонже, оканчивающейся затянутой вокруг её шеи петлей.

Её полет завершился в кузове грузовика, стоящего за кустами. Страшный визг собаки резанул по сердцу ножом.

Мужики, хохоча, направились к машине.

А дальше случилось самое страшное — как загипнотизированные, мы молча пошли по тротуару в привычном направлении.

Машина ещё стояла на обочине и страшный визг Белки был ещё слышен, когда мы переходили улицу Космонавтов на пересечении с улицей Гоголя.

Придя в школу, я достала свой дневник и написала в центре чистого листа:

«Сегодня, такого-то числа и года, в 8 часов 15 минут умерла Белочка.»

Запись я аккуратно взяла в черную траурную рамку.

Прошло очень много лет, но этот случай я помню очень хорошо.

Иногда, просыпаясь ночью, я мучительно анализирую происшедшее и тщетно пытаюсь найти ответ на вопрос: почему я так безропотно восприняла случившееся, почему не бросилась на красномордых дегенератов, не закричала, не завизжала, не расцарапала в кровь их омерзительные хари, не позвала взрослых, не записала, в конце концов, номер машины и не отправилась на поиски своей зарегистрированной и имеющей право на жизнь подруги?

Что заставило меня молча, не останавливаясь, не обращая внимания на текущие по щекам слёзы, идти в школу, бросив без помощи дорогое мне существо?

Я не могу понять, что позволило мне так покорно принять свершившееся — страх, охвативший меня при виде собачников? Преступное душевное облегчение, наступившее при уяснении ситуации, что опасность грозит не мне, а маленькому существу рядом? Привычка к послушанию?

Вдолбленное в школе понятие о правильном поведении? О том, что взрослые всегда правы? Желание перестать быть объектом насмешек?

Я много лет не могу найти ответ. Да и есть ли он? И не является ли его поиск поиском оправдания страшного поступка, являющегося ни чем иным, как оставлением в беде, а проще — предательством?

Предательство, совершенное много лет назад десятилетней дурочкой, до сих пор мучает меня.

Может, судьба специально принесла маленькую Белку в жертву для того, чтобы всю свою жизнь я измеряла этим событием свои дальнейшие поступки и больше никогда не совершала подлости и предательства?

Иногда я думаю о том, что если существует жизнь после смерти, и я встречу там Белку, я присяду на корточки, чтобы мои глаза были на одном уровне с ней, когда она положит мне на плечи свои беленькие пушистые лапки, и, глядя в её тёмно-синие, такие любящие, глаза, я попрошу свою любимую подружку, о которой не забывала всю свою жизнь, простить меня.

Она любила меня и, потому, конечно простит.

Но разве надежда на прощение может оправдать предательство?

Дмитрий Фалеев¹

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ АРГОНАВТОВ

рассказ

Горы всегда горы.

Наверно, не зря я вспомнил про них в тот день — ведь мне хотелось спеть песню любви, а что может быть чудесней снежной вершины, залитой сверкающими брызгами солнца?

Нет, Лиза мало походила на гору — тоненькая, стройненькая, среднего роста, с круглым, милым личиком и тонкими губами степной наездницы. В жилах её текла татарская кровь.

Нрав у Лизы был ни кроткий, ни капризный; целеустремленный — да, общительный — да. Весёлый? Не знаю, не заглядывал внутрь: она не подпускала к себе так близко, чтобы кто-то узнал, что у неё внутри.

Мы были знакомы уже много лет, ещё с института. Тогда я воображал её сказочной принцессой, делал из Лизы нечто вроде феи и, конечно, же проворонил.

Но и Лиза оказалась не так проста — жизнь её не сложилась, как будто судьба из раза в раз давала осечку. До меня иногда доносились известия: разошлась с тем-то, разошлась с тем-то...

Говорили, что однажды Лиза уже даже выбрала себе свадебное платье, был назначен срок, но в последний момент

¹ *Писатель, этнограф (цыгановед), искусствовед и путешественник. Живёт в г. Иваново. Лауреат премии «Дебют» (2005) и русско-итальянской премии «Радуга» (2010). Автор книги «Бахтале-зурале! Цыгане, которых мы не знаем» (Москва, Альпина Нон-фикшн, 2013), «Формула всего» (Москва, НЛО, 2022) и других. Ряд рассказов переведен и опубликован в различных изданиях России, Великобритании, Италии, Франции и Китае.*

жених улизнул, скрылся с горизонта без объяснения причин. Лиза поревела и закусила удила.

Обо мне она также, я полагаю, слышала подобные новости, рисующие мою жизнь в самых общих чертах — с красочными подробностями наиболее невыгодных моментов.

Пути пересеклись, когда я сел в маршрутку и увидел Лизу на заднем сиденье. В зимней, вязаной шапочке я её едва узнал, а она мне сразу улыбнулась глазами.

Я сел с ней рядом:

— Откуда и куда?

— От друзей... К друзьям! — завертела головой.

— Хорошо живёшь!

Маршрутка катилась. За обледеневшими окнами было трудно разобрать, к какой остановке мы приближаемся. С обеих сторон бежали разноцветные кляксы иллюминации.

— Погода-непогода. Моя-то сломалась, — сказала Лиза про свою машину.

— А у меня — голова.

Лиза не удивилась.

— А ты куда едешь? — спросила она радушно и вежливо.

— Придётся с тобой!

— Со мной — нельзя.

— А когда с тобой можно?

— Ну точно не сего-одня, — протянула девушка.

— Я завтра к Ване иду. Если ты к нам не зайдёшь, мы в розыск тебя объявим! Ты Ваню знаешь — эта лисица любой след распутает.

— Ищите-ищите, — она поправила шарфик и махнула ресницами без тени кокетства — так школьницы машут.

— А по правде — придёшь? Тебе ж через дорогу.

— И вам — через дорогу!

— А мы стесняться не будем, — брякнул я молодецкато, дела вид, что припираю её к стенке. — Вот возьмём и придём!

— Лучше сначала позвоните, — сказала Лиза.

«Какая ты сейчас?» гадал я после, вернувшись в квартиру, наедине с пельменями, и не было ромашки, чтобы мне ответить.

Ваня-охотник жил напротив её дома. Известен он был тем, что во всякое свободное время брал с собой ружьё и проваливался в лес — именно проваливался, потому что с детства отец приучил его к строгому и размашистому быту таёжников: в сторожках, зимовьях, на каких-то промоинах, сечах, привадах (Ваня знал много подобных слов), — а город никак не мог его обтесать.

Город пытался Ваню приручить — то кнутом, то пряником, но, как оказалось, лесную закалку пропьёшь не скоро. Она его и впутывала в различные истории, происходящие большей частью от того, что звери и птицы были Ване понятней, чем обитатели города, казались ему чище и благородней. Мало читающий, но вдумчивый, основательный паренёк чувствовал в голове какое-то ключевое несоответствие, несовпадение, но ему не хватало пороку, может быть, образования, чтобы выразить его словами и мыслями, ему не удавалось объясниться с людьми, и дело частенько заканчивалось дракой. В сущности, незлой, миролюбивый Ваня, ответственный, бережливый, прослыл бузотёром — посреди застолья он мог начать к кому-то усиленно докапываться, вызывать на разговор, но так как по природе он сам был молчун из молчунов, то все эти дискуссии выходили у него косо — собеседник скорее пугался Вани, не знал, чем ответить, Ваня впадал в транс, а потом ни с того, ни с сего залеплял соседу в ухо или в челюсть. Его потом спрашивали:

— Зачем ты это сделал?

— Не я, а тайга, — отбрёхивался Ваня, видимо, каким-то стародавним присловьем — сам он был не выдумщик, чтобы завернуть подобное выражение.

В лесу он спасался, удирая от своих городских неудач и жены-надзирательницы под его светлый полог с глухарями и шишками, тетеревами и ландышами. Там он дышал

жизнью речек и оврагов, лощин и валежин, грохотом выстрелов, россыпью кабаньих следов на песчаном мыске, ночным, завораживающим звуком болотины, через которую на сухое место к знакомому островку пробирался сохатый, и на голове у него не то корона, не то коряга...

Все деньги, которые у него не отбирала жена, Ваня пускал на выпивку или «в дело». «Делом» у него называлась охота. Ту должность, которую он занимал при небольшой конторе по перекупке и поставке цемента и за которую ему платили зарплату, он ни во что не ставил.

«Кабала и есть», — определял он древним, рельефным словом, возможно, заключающим для него по звуку нечто магическое, и пойманным, подслушанным им в какой-то загоббригаде, у мужичков старшего поколения.

У Вани было четыре сотрясения мозга, два вставных зуба и неправильно сросшаяся левая рука, которую он не мог распрямить до конца, но под одеждой этого было не видно.

Мы как-то встретились компанией однокашников, и, чтобы не тратиться на ресторан, а может, от присущей ему домовитости, Ваня на все лады зазывал нас к себе.

— Поехали... Чего? В ворон постреляем! Я собаку покажу — у меня собака весёлая. Собака весёлая, жена — грустная, — добавил он, поразмыслив.

Все засмеялись. Это было наблюдение, которое Ваня выдал лично от себя, и оно запомнилось как афоризм.

— А твоя как супруга? — спросили мы Вадика, который растолстел и стал прокурором, Вадимом Евгеньевичем.

— Супруга? Штатно, — пожал он плечами, как будто удивляясь нашей незорливости и тому, что мы не понимаем очевидное. Ваню он ласково называл Браконьером.

— А ты когда женишься? — спросили меня.

— Вот Лизка даст добро.

— Га.

— Хе-хе, — раздались довольные, гогочущие всплески.

— Напомните мне, кто такая Лиза, — спросил Вадим, оторвавшись от телефона.

— Сказочная фея, — подсказал ему Гриша и состряпал до мерзости умилённую рожу.

— Так эта та, что ли, всё ещё?! — изумился прокурор, — А ты её ещё нет? Ну тогда неинтересно, — он немножко привстал, оглядывая стол, — А где у вас тут сало?

Дружба, куда ты?.. Да тут она — вот: свернулась калачиком и тихо мурлыкает. Все живы, все трудятся, остаются на ходу...

Это называется лирическое отступление. Я доел пельмени и вымыл тарелку. Ещё раз припомнил её тонкие плечи, улыбку, глаза, общагу на Смольной... Лиза до сих пор оставалась не плотью в моём представлении, вернее, не телом. Казалось, что тело от неё можно было легко отщёлкнуть, чтобы осталось одно лицо, радостные словечки, приветливость, быстрота, острые, осторожные, бегущие лучики...

Собственно, обаяние нельзя описать — разве только прибегнуть к каким-нибудь метафорам, которые могут обворожить своей диковинностью, изысканным вкусом или некоторой шершавой неприхотливостью, а вот женское, неуловимое так и останется нетронутым, словно эти выражения, описывающие её и посвящённые ей, промаршировали мимо, — ведь красота безыскусна.

Тяжелодумный январь перевалил за Крещение, а на меня вдруг повеяло ветром тех лет, ветром юности...

Та моя влюблённость обошлась без ответа, но сейчас почему-то это было всё равно. Или нет?

Секунда — и всё опять меняется!

Я откинул занавеску. Окна моей квартиры выходили на РСУ, и каждую ночь жёлтый, контрастный свет фонарей выхватывал чёрные силуэты деревьев, длинное, двухэтажное, кирпичное здание с заснеженной горизонтальной крышей, ряд грузовиков в защитной, военной окраске, которые

и днём-то никуда не выезжали, словно они были экспонатами музея...

Нет, не меняется!

Так что же во мне дрогнуло, пискнуло, рывкнуло?

Ветер сменился.

На следующий день я, как и обещал, направился к Ване, тора тропинку в холмистых сугробах — ночью намело, и жители Глинищева, частного сектора на окраине города, в воскресный день не спешили просыпаться и откапывать дорожки, но Ваня — птичка ранняя.

Он встретил меня на улице, откидывая снег от ворот гаража широкой, деревянной лопатой. Проход к калитке оставался нерасчищенным. Пожав мне руку, он достал сигарету.

— Помочь?

— Чего?

Вот так мы общались.

Жена у Вани была маленькая, плотная, как кочерыжка молодой капусты, с языком хуже сверла, но зато непривередливая. Он считал её грустной, хотя в нашем присутствии она неизменно вся словно подбоченивалась, наливалась энергией и ворчала с ловким юмором — ненарочным, деревенским, — и так же по-деревенски она понимала, что друзья — это святое, относилась терпеливо. В общем, было похоже, что доставалось за нас одному Ване. В эти выходные его жена с дочкой уехали к её родителям, и нам с хозяином стесняться было нечего.

Овчарка Фунтик то и дело подлезала под стол и укладывала голову мне на колени, выпрашивая еду.

— Ничего ей не давай, — предупредил Ваня. Он каждый раз об этом предупреждал — даже прокурора, но только прокурору и в голову не придёт делиться с собакой.

Прямо из кухни открывался вид на дом Сахимутдиновых.

— Если ты к нам сейчас не придёшь, я тебе окошко снежком разобью, — пообещал я Лизе по телефону.

— А котов кто накормит?

Крыть мне было нечем:

— Ну корми своих котов и сразу же к нам. А то Ваня не поймёт.

— Чего? — широко улыбнулся Ваня, добродушный, как медведь.

Лиза пришла.

Мы налили ей стопочку, и она не отказалась, ни капли не позируя и не бравируя этим, — выпила с удовольствием.

— Она ещё и купалась! — заложил её Ваня. — На Крещенье, в проруби. И с головой окунулась!..

— А ты растрепал!.. Я сначала так трусила: вода чёрная, брр... — Лиза поморщилась. — Никогда так не купалась — летом-то не купаю! — рассказывала она с забавным нетерпением — так дети пересказывают понравившийся фильм.

Она делилась радостью пережитого приключения, несколько шального, но в то же время безопасного, и голос её приобретал напевность — вероятно, от того, что случай пересказывался несколько раз.

— Минус пятнадцать, но раздеваться не страшно! Вот в прорубь спускаться страшно! На воду смотришь, и такое ощущение, что она тебя схватит, словно там водяной: не водяной — водяной, — поправила она и невольно засмеялась, — а вся эта чёрная пропасть воды, текущей подо льдом, и есть водяной. Там, чтоб не поскользнуться, вокруг лапник разбросали, народу — прорва, эмчезовцы приехали — дядька усатый стоит, страхует; у самого усы заледенели. Я его спрашиваю: «Вы меня спасёте, если что?», а он отвечает: «Вас с той стороны примут». Усатый, как морж.

— Телефончик не спросил? — поддел я с мнимой ревностью.

— Нет, не спросил, но руку мне подал, — сообщила Лиза, как будто это важно. И это стало важным.

— Так ты теперь крещёная! — опомнился я, а Ваня добавил:

— Скоро поросёнка себе заведут.

Семья Сахимутдиновых хранила верность исламу, но как-то незаметно для себя обрусела — в доме разговаривали на русском языке, на Масленицу сжигали во дворе чучело, делали ягодные вина и настойки, которых хватало и хозяевам, и гостям.

Гостей по старинке усаживали за стол и охотно потчевали блинами, и лапшой, и всяческими соленьями, и картошкой с луком, и липким чак-чаком, — всем, что было к столу.

По субботам над баней клубился дымок, и вечером соседи иногда могли слышать доносившиеся оттуда негромкие, слаженные голоса: «Виновата ли я..» или «Ой, при лужке, при лужке..» — песни пелись так, словно Сахимутдиновы сами их сочинили. Они умели работать и умели отдыхать.

Знакомый мулла, сын которого одно время сватался к Лизе, глядел на их дружный, весёлый быт с недоверчивым любопытством и сдержанной симпатией.

Жили они в доме, переделанном из бывшего продуктового магазина, одноэтажном, многокомнатном, словно заранее рассчитанном на большую семью с кучей галашливых детей и внуков, но вот тебе на — старший брат взял сварливую, фигуристую разведёнку с хмурым и молчаливым ребёнком от первого брака, и они предпочли (она предпочла?) снимать малосемейку, чем жить у его родителей; — на Лизе же дело вообще застопорилось.

— А правду говорят, что ты по ночам в лягушку превращаешься? — спросил я её.

— Какую лягушку? Вот такую? — Лиза скорчила мордочку с надутыми щеками, округлив свои зеленовато-бурые глаза. — И кто так говорит?

Я ткнул пальцем в Ваню:

— Вот у него спроси.

— Зачем? — растерялся Ваня с набитым ртом и сделал вид, что ничего не разобрал.

Он всегда так делает, когда возникает малейшая возможность попасть впросак, знает, как легко подловить его на слове и слегка смущается, да и что взять с человека, который, рассказывая об охоте на медведя и стремясь к внушительности и терминологической точности, скажет: «на траву вышли два объекта животного мира».

Вечер для всех пролетел незаметно. Лягушка-царевна ускакала от нас в полночь. Я подловил её в коридоре:

— Ты что завтра делаешь?

— А что я завтра делаю? Работу работаю, — она обула сапожки.

— А после работы?

— После работы, после работы... — ребячилась Лиза, но так и не ответила.

Мы вышли за улицу.

— Пойдём — погуляем? — предложил я ей.

Дом Лизы был напротив, и ушастый Филька учуял хозяйку. Пёс беспокойно, не то рыча, не то поскуливая, засновал у ворот, подсовывая морду под нижние перекладины то у одного столба, то у другого.

— Кавалер заревнует!

Мы стояли у калитки, за которой Филька вилял хвостом и вертелся на месте — ни фига он не заревнует!

Десять лет назад собака была другая, но в чёрном небе также блестели светлые, январские звезды. Они проступали из космической вышины далёкими огонёчками, но, если снять перчатку и поднять ладонь вверх, на неё кто-то падал, приземляясь, как снежинка. Об этом — не расскажешь.

— Дежавю, — сказал я.

Тут шаркнула дверь, и у дома, на крыльце появилась фигура.

— Луша! Луша! Луша! — это лизина мама кликала кошку, но вместо неё на подзывающий голос почапал Филя.

— Неслух, эх ты... Вот ты непутёвый, — воскликнула Лиза, отодвигая щеколду.

Я проводил её взглядом и какое-то время постоял-помолчал, повторяя про себя: «Сама ты луша». И ведь даже не обернулась. Я тоже не стану смотреть ей вслед!

Филька уткнулся в лоханку с кормом. И здесь — фонари: они жёлтые, как рыбы. Почему как рыбы? Их холодный свет бликовал на стёклах припорошенного автомобиля. Ночь, а прозрачно. И дышится легко.

Что я тогда чувствовал? За собой не уследишь. Если бы человек был сам себе хозяин, наша бы жизнь ни копейки не стоила, и весь род людской давно бы прекратился.

Движения, звуки, кратковременные порывы и долготерпение, укутанное снегом, доблесть и мелочность, трусость и искренность... Разве не чудо, что ВСЁ происходит? Мы об этом не задумываемся, а оно происходит, и поскольку всё это повторяется каждый день, покуда мы дышим, мы так привыкаем, что жизнь становится чуть не пародией на саму себя... Нам прописывают очки, которых мы не заслужили!

И об этом — не расскажешь! Пока слова находятся внутри, они правдивы, а, будучи произнесёнными, теряют свою убедительность и силу — тут какой-то закон, перепрыгивает через который только поэзия.

Я дошёл до перекрёстка и повернул обратно. Побродил, потоптался.

Бывает — зима, а при этом тепло — не то, как летом; не солнышко греет, а воздух проникнут каким-то благим, врачующим духом, и мир стоит такой — предпраздничный, лебединый, весь какой-то сокровенный, точнее, открытый! Вдыхаешь, а не видишь. Сугробы эти белые, домишки с окнами вдоль улицы тянутся, и в одних из них свет, а другие потёмничают.

Идёшь по такой улице, вокруг — ни души, и даже у магазина никого не видать, а ощущение, что рядом с тобой хо-

дят какие-то хорошие, незнакомые люди, и все с тобой здороваются.

В тот раз такого не было, не было таких мыслей — отрывочных, ясных; была обида.

— Ну что, кавалер?

Филька смотрел на меня из-под забора.

Я договорился, что заночую у Вани — он уже кинул мне на топчан два матраса и рассовывал концы одеяла в свежий пододеяльник.

— А бывают такие ружья, — спросил я его, — которые раз стреляешь — осечка, два стреляешь — осечка, в третий — осечка, ну и так далее?

Ваня опешил и сделал лицо, как будто собирался повторить свои «Чего?» или «Зачем?» Он даже решил, что я его разыгрываю — настолько не вязалась со мной эта тема. С другой стороны, если я и впрямь заинтересовался огнестрельным оружием, то с кем же мне советоваться, если не с ним? Уж где-где, а в этих делах он спец! И это всем известно!

— Может, и бывают, — ответил Ваня, — но только это не ружья. Зачем они нужны? Пулей-то шлёпнешь, и то не всегда. Я сам своими глазами видел...

— Ты уже рассказывал, — отмахнулся я, на ходу теряя интерес, — Давай лучше в шахматы.

— Нет, погоди! Чего я рассказывал? — обиделся Ваня. Он иногда бывает невыносимым.

Я только вздохнул:

— Ты, и дядя Миша, и ещё какой-то олух...

— Валентин Петрович?! — воскликнул Ваня с радостным изумлением, — Майор в отставке, — покачал он головой. Но спорить не стал.

— Хорошо — майор, да кем бы он ни был! — подгонял я повествование, — Вы добыли кабана, собираетесь освежевывать...

— Ошкуривать! Ошкуривать, — поправил Ваня, не давая мне спутаться.

— А кабан был вонючий, гон у него — самцы-секачи воняют... ну как? — оглушительно воняют!

Ваня согласился — ему, в целом, нравилось, как я излагаю.

— Кабан завалился. Вы ему задние ноги растопырили, — я показал, насколько широко они это сделали, но Ваня был до наивности не чуток к иронии. — Майор, значит, спрашивает: «С чего начинать?» — «Яйца отстегни, — говорит дядя Миша, — Перевяжи и отрежь». Правильно?

— Правильно!

— Майор достал нож, примерился к тем самым и шепчет: «Ребята?» Ребята: «Чего?»

— «А кабан-то на меня смотрит!» — не выдержал Ваня и сам исполнил финал истории, как будто боялся, что я с ним не справлюсь или смажу какой-нибудь ахинеей или глупостью, или просто перевру.

— А ещё был случай, — не унимался Ваня, — добирал я лисицу...

Бывают моменты — от него не отвяжешься.

И зверь не отвяжется — в лесу он добычливый.

Мы накатили, вспомнили Вадика, эпизоды из школьной жизни, многие из которых Ваню так потешили, словно он в них не участвовал, а впервые о них слышит. Иногда он помнит чуть ли ни отдельную веточку на дереве, ни вмятины на мхе, а учителей, выпускной — всё как-то туманится, а что спрашивать с человека, который, пытаюсь увлечь девушку, рассказывает ей, что знает место — и туда «надо спешить», пока всё там не выпилили, «лес-то вырубают!», — а место заветное!

— Там рыси котятся! — сообщает Ваня с такой интонацией, как будто по секрету или уступая, доверяя её вниманию нечто очень дорогое, лирическое и трогательное. Он ждёт, что женщина поймёт, оценит...

Да мужики-то не ценят!

Мне было понятно, почему он срывается и чешет кулаки, наживая неприятности, — у человека есть за что постоять. Я даже завидовал его страсти, азарту, которая делала его вроде и смешным, и неповоротливым в лабиринтах городской жизни, а он всё не тонет, не приспосабливается.

После очередного сотрясения мозга память у Вани захламила ещё больше — чуть перебрал, и наутро он уже почти ничего не помнит, словно выдул цистерну, а жена этим пользуется, преувеличивая масштабы его хмельных выступлений. Он только бурчит, бурвя глаза в пол: «Не похоже на меня», — и трёт подбородок; — сам невысокий, с залысинами, пристроенный на работу, на которой никогда ему не сделать карьеру, и этот человек бьёт белке в глаз, добывал медведей...

«Да ну эту Лизу!», утешал я себя, забираясь на топчан. Ваня уже дрых, издавая носом полусвист-полусип, долетающий до меня из соседней комнаты. «Полно таких!».

Куда? Никуда!

Против ветра ходят галсами!

Острый нос корабля, рассекающего волны, был круто занесён над стеклянными дверьми ресторана. У крыльца курил повар — сущий абрек, не умеющий улыбаться, если поблизости некого зарезать.

Я снова обратил внимание на вывеску — четыре буквы складывались в «АРГО». Легендарный корабль упирал свою грудь в нарисованные, кудрявые волны. Художник ничуть не стремился к выразительности — он просто сверился на картинках в интернете, как выглядели древнегреческие корабли, и выполнил что-то благообразно-подходящее.

Если там так готовят, как художник рисует, то заказывать там нечего!

«Арго» есть «Арго», должен им быть — даже если пробина ниже ватерлинии, и он идёт ко дну; даже если он отправлен на почётную пенсию, и короеды разъели древесину, а женщины сушат на нём бельё, перекидывая его через

рассошшиеся снасти, и мальчишки растащили вёсла из уключин, где раньше на скамьях утруждались гребцы в борьбе с океаном, устремляясь в бурю, — в надежде переплыть ещё один день...

Никто не отменял это счастье аргонавтов! Никто не отменял! Ни песню Орфея! Ни счастье аргонавтов!

Вот что должен был вложить художник, какую идею, но, видимо, он сам не имел её внутри или считал её вредной, а может, болезненной, уделом неудачников, — вот он и сообразил нечто приблизительное, обтекаемое, нейтральное, то, что не выдернет из нагретого места, а наоборот, поможет в нём капитально присусениться...

Арго — не такой! Он создан для схватки, не для круизов... Шаманское судно!

Арго — водитель! Согласно преданью, в него был врублен кусок додонского дуба, который заговорил, когда аргонавты сбились с пути. Лучшие люди, отборный спецназ всей Аттики и Микен, Фессалии и Эвбеи, вступили на палубу вместе с Ясоном.

Чтоб корабль не был слеп и видел, куда плывёт, у него на борту нарисовали глаз — глаз, который никогда не спал...

Я многое мог бы рассказать художнику, которому хозяева поручили эту вывеску, — объяснил бы, сколь многое он упустил, переврал, не понял, а он бы что ответил? «Я оформитель — мне платят не за то, чтобы люди уматывали к черту на кулички... Пусть лишний раз зайдут и перекусят».

Это был обычный ресторан грузинской кухни — не плохой и не хороший, — и назвали его так лишь по той причине, что «Арго» плыл в Колхиду, то бишь западную Грузию, где ныне находятся Батуми и Уреки, а раньше были Диоскурия и Фасис.

Но «Арго» плыл не туда.

Как — «не туда»?

А так — не туда.

— И Ясон направлял его не просто далеко, не в какую-то труднодоступную, географическую местность, а чтоб дальше некуда!

Мы ждали заказ.

— Он плыл на край света, на край земли, в страну, которая существует только в песнях и баснях, но это не значит, что её нет, — ведь он же там побывал. Он был знахарь, жрец. Его интересовали пределы знаний.

— Я мультик смотрела, — кивнула Лиза.

Она закатила глаза наверх, словно заметила там паутину и водила по ней взглядом, изучая переплетения серебряных нитей, натянутых в воздухе.

Мне показалось всё чепухой — вся это старомодная брехня про аргонавтов, которая не имеет никакого отношения к живой современности.

— Мультик не считается, — продолжал я упёрто. — Это для детей. Ни один ребёнок ни в какую сказочную Колхиду не поплывёт — она и так вокруг него. А Ясон был взрослый, молодой парень, полный ума и энергии. Он пришёл в Иолк — босой на одну ногу, на другую обутый; прекрасный, как женщина, и сильный, как мужчина. Его воспитывал не человек, а кентавр. Он шёл навстречу самому себе, и вся его жизнь — стремление в неизбежность. Раньше я думал, что он искал приключений, что он выбирал. А сейчас я думаю — у него не было выбора. Руно притягивало его, как магнит. А мы размагничены, — вдруг брякнул я, резко поменяв курс, поставив другой парус, — Я живу, хожу, чего-то добиваюсь, чего-то хочу, но в моей жизни нет ничего. Она состоит из того-то, из того-то, но по сути она не наполнена ничем. У неё нет ни красок, ни плодов. А раньше так не было.

— Это время и возраст, — сказала Лиза убеждённо и мягко. Она не мудрила и другим не советовала. Тонкие губы, подведённые коричневой помадой, были тесно прижаты. Казалось, что они слушают меня не меньше, чем уши.

— Я стараюсь иногда взбрыкивать, но моё ничего остаётся ничем, дыркой от бублика, и я туда проваливаюсь, как в чёрную дыру. У Вани есть отдушина — охота, у Гриши — театр...

— И фотография, — подсказала Лиза.

— Да — и фотография. Вадику с лихвой хватает семьи и службы — к нему в кабинет зайдёшь, его из-за папок вообще не видать; роет, как крот... А у меня ничего. Работа приелась — ну зарплата большая, ну «начальник юридического отдела», — и чего? Даже Валька была: я её любил, она меня любила, — и тоже ничего.

Я чувствовал, что слова сами прокладывают себе дорогу, я чувствовал их вес, решительность, правду, хотя они значили не больше, чем фантик. Это были пустяки, описывающие мою жизнь, — что у человека дороже жизни?

Как тот скрипач, который махнул смычком и напрочь позабыл, где он находится: в концертном зале или полуподвале, у себя дома или на улице, играя для прохожих, я тоже растворился в подхватившем меня потоке.

Когда фонтан иссяк, я попробовал обогнуть, зайти с другого боку или вновь поймать волну, чтоб увлечь с собой и Лизу, но волна прошла, а Лиза осталась сидеть на месте.

— Разве это понятно? — я взглянул на неё.

— Понятно. Очень, — кивнула Лиза с такой интонацией, как «нет» или «не знаю».

Я был готов разmozжить ей голову, грохнуть стаканом по её черепушке! Гнев словно брызнул, но остался втуне.

Мне стало едко-досадно — до ломоты в суставах и сухости языка, — что я это ей выкладываю, а она меня слушает, и, что бы я ни сказал, она меня выслушает и со всем согласится, — не потому что равнодушная или неотзывчивая, а просто это от неё далеко, как жизнь негров в Танзании или уборка индейцами маиса, или ловля рыбы на островах Аргентины.

Девичье любопытство с услышанной информацией обходится легко, а ведь это не информация, я не отчитывался,

не докладывался Лизе, и что же выходило, а выходило то, что я, как, наверное, большинство людей, не умею толково рассказать о себе, донести, что происходит внутри у меня, до другого человека, и поэтому он и не может, как бы ни хотел, всем этим заинтересоваться.

Вот что подбешивало, и — ох, как прекрасно понимал я Ваню, когда, обзлѐнный бессилием объяснить что-то важное, своё, трепыхающееся, как рыба на крючке, он вдруг приходил в слепую ярость и учинял бессмысленную, никому ненужную драку.

Я мог бы добавить тысячу слов, произнести тысячу реплик и определений, сколь угодно метких и поражающих цель, но сущность моя по-прежнему оставалась для Лизы неразличимой. Она только слышала, что где-то плещется рыба, и, может, звук объяснял ей, что большая, но дальше этого дело не шло — так и плескалось что-то справа по борту. А, может, она и того не различала, даже размера этой бьющейся рыбы, изо всех сил старающейся высказать, рассказать; может, и это для неё было слишком, и она по-настоящему была занята другим, а моя болтовня для неё было чем-то вроде передачи о животных в Африке — каких-нибудь зебрах или гепардах.

Ну её к чёрту! Я накрыл её ладонь, но Лиза бесхитростно от меня отодвинулась.

— Это ни к чему, — попросила она, — Лучше расскажи мне ещё что-нибудь.

— Это ни к чему, — я попробовал снова, но Лиза убрала ладони под стол.

Мы помолчали.

Такое было уже десять лет назад.

Наверно, она тоже об этом вспомнила.

К чему напоминать? Горы потухли, и всё, что забрезжит, не рассветѐт, — моѐ топливо не двигает детали механизма, не крутит лопастей, не вращает педали, а значит, месторождение пора закрыть.

— Господь проклял нас, — сказал я, не сводя с Лизы глаз, думая, что она сейчас скажет: «Мне пора домой», и отчасти даже надеясь на это, потому что тем самым она бы избавила меня от кучи бесполезных и ненужных высказываний.

Ну или это могло её пронять, и она бы, возможно, перестала отодвигаться.

А она себя не вела никак. Организм её тикал, как настенные часы. Это я развинтился. А она была в норме. Видимо, Господь проклял меня одного.

— За что? — спросила она терпеливо.

— Не знаю. Так нельзя себя вести.

— Кому?

— Никому.

— «Кому-кому-никому», — изобразила Лиза мультяшную ведьму, и на этом, в общем-то, закончилось всё.

На следующий день я удрал на лыжах. Был мягкий ветер, и бездомно падал снег.

Город остался далеко позади. Я обогнул кладбище, возле которого меня облаяла собака, потом через поле, мимо недавно выросшего коттеджного посёлка, потом по руслу заледеневшей реки.

Когда я въехал в лес, где-то неподалёку раздался звук, словно медведь откинул крышку берлоги, — наверно, сосны скрежетали друг об друга, потому что медведей у нас не водится.

Я вспомнил Ваню, достал телефон и увидел ссылку на пропущенное сообщение.

От неё?

МЧС предупреждало горожан о возможном шторме.

ПОЭЗИЯ

Заир Асим¹

АБСОЛЮТНАЯ ДИКАЯ ТИШИНА

В первый раз оказался на концерте
Закрыв глаза и танцевал
Всем телом ощущал земную пульсацию басов
Так внутри себя чувствуешь громкое сердцебиение
Шум вибрации и гул жизни
Перед последней потерей сознания

Я нашел идеальную кофту
С капюшоном фирмы jack jones
Простую черную квадратную
Когда-нибудь она состарится
Я куплю такую же

Я нашел идеальные кроссовки rima
Красные мягкие воздушные
В них наступаешь как в осень
В теплую октябрьскую листву
Второй год ищу такие же

Я люблю эту повседневность

¹ Заир Асим (Заир Асимов) родился в 1984 году в Алма-Ате. Прозаик, поэт. Печатался в журналах «Знамя», «Новая Юность», «Волга», «Дружба народов», «Литература» и других. Автор книг «Осиротевший крик сирени» (Алматы, 2010), «Письма в никуда» (Алматы, 2013). Живет в Алматы.

Лето сменяется летом
Осень осенью ночь ночью
Перелеты из города в город
Повторение шагов и пятниц

Я люблю эту музыку тавтологий
Идеальных дней и событий
Черные футболки и туфли
Снашиваются и заменяются другими
Абсолютно подобными себе

Это круговорот вещей
Отцов сыновей листопадов и слов
Черных белых и красных
Новорожденных котят и смертей
Подобных самим себе

Три базовых цвета
Черный
Белый
И красный
Как жизнь
Смерть
И любовь

я все еще помню крик ворон
на голых ноябрьских кронах
когда папа вел машину
вверх по сейфулина

воспоминания даны чтоб не помнить

просто книги на полках
интерьер прошлой тайны
лестница в небытие

этот сегодняшний дом
за городом у подножия снов
напомнил о жизни памяти
о простоте стен и вещей

воздух летел из окон
как наши имена и годы
без боли и сожалений
во всем открывал себя

МУЗЫКА ВЕГЕТАРИАНСТВА

не помню сколько лет прошло
как стал вегетарианцем
но хорошо помню откуда это началось
мы впервые выехали в кольжат
еще близкие и родные друг другу
в отдаленное село на границе с китаем
пустая невидимая земля
после намаза прочитанного местным муллой
папа перерезал горло барану
и я физически ощутил эту боль
как мощное внутреннее пение
пронизывающую волну освобождения
кровь густела утекала в слепую почву
такое было впервые
потом мы с братьями посадили много разных деревьев
березу сосну иву
съели нежный куырдак с бараниной
ночевали у соседей как в детстве

весело и дружно спали на полу
а я не мог уснуть ошеломленный
внезапным откровением смерти
таким же реальным как прикосновение
дуновение тепло солнца
среди ночи в дикой темноте
пока братья храпели я вышел на улицу
послушать отсутствие города
это был первый росток отказа от мяса
за многие годы расширенной жизни
я чувствую как усиливается иррациональный слух
другой недоступной музыки
таинственной как сновидение

Мне нужна маленькая комната
Как в юности размером с купе вагона
Как номер в отеле аэропорта в амстердаме
Чем меньше пространства вокруг
Тем больше ясности в голове
Чем больше темноты снаружи
Тем больше света в сорокалетнем сердце
Мне нужна эта маленькая комната
Со всех сторон обложенная молчанием
Как это квадратное стихотворение
Как цветное поле необъяснимого Ротко
Здесь мы никогда не стареем не ошибаемся
Это похоже на неожиданное освобождение
Когда отключают свет и связь
Абсолютная дикая тишина
Вот оно никуда не исчезло не растворилось
В бесконечной попытке пытаться
В тавтологии форм и рекламы
Вот оно есть повсюду

То что было до нас
И останется после

КАПЛЯ ШОКОЛАДА

Воскресенье
Редкий день отдыха
Жара снаружи и в голове
Ем мороженое
Пишу эти строки
На экран падает капля
Растаявшего шоколада
Вот она
Жирная липкая и тяжелая
Как этот июльский день
Медленно
Растекается
В бесконечности

В июне ждешь осень
Лежа в темноте на подушке
Под пульсирующим потолком

Осень уже рядом
Слышишь как надвигается ветер
Переворачивает страницы листвы

О многом не скажешь вслух
С годами любишь людей
Больше чем самого себя

Это мечта о падении

О последней возможности
Быть мимолетным

ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ В СТАМБУЛЕ

Вкус турецкого чая определяется цветом и формой
стекла,

Подобно маленькой скрипке,
Терпким послевкусием, пределом усталости,
Рыжим котом на диване,
Воспоминаниями о прошлом годе,
Когда большой компанией весело ели рыбу,
Всего лишь год назад, а уже так недосягаемо,
как фотографии детства, как желание
пережить что-то вновь во второй раз,
Делаешь небольшой глоток,
Чего давно не делал,
Видишь отражение себя,
Не тянешься гладить кота,
слишком понятна его природа,
Разглядываешь фото папы из Барселоны,
Где он сидит на скамейке, совсем седой, и держит за по-
водок собаку брата,
В полусне, в полубреду пишешь эти слова,
Ничего уже не ожидая от жизни,
Кроме этих неожиданных, очаровательных всплесков
Пути, незнакомых мест, родных лиц, будущих встреч,
Так хорошо, что сегодня было почти не страшно не при-
землиться,
Когда самолет на огромной скорости после тряски са-
дился на посадку
И вдруг взмыл вверх,
Как будто жизнь дается заново.

ТАРАНТИНО

Тарантино цветной как Буэнос-Айрес
Буйные сцены сменяются как дни
Многоликое сияние ночей и милонг
Танец такой же мимолетный
Как диалог стремящийся к абсолютной неожиданности
Кто есть кто
Где линейность времени и серьезность выбора
Родители-школа-работа и т. д.
Словно это просто поток поздравительных сообщений
С днем рождения с новым годом рассылка рекламы
Трудно разобрать куда ускользнула реальность
Просто плутание красивых и ярких лиц
Как ты и я как незнакомая юность
Музыка которую невозможно
Ни остановить ни запомнить
Многослойный ритм пульсация деталей
Что еще мы можем сказать о себе
Когда у нас уже нет имен-возраста-цели
Одно событие вылетает из другого
Как неосмысленные слова
Освобожденные от намерения говорить
Убеждать к чему-то вести выделять главное
У нас нет восприятия-голоса-тела
Мы это только клубок невидимой теплоты
Чем больше цепляешься за попытку найти себя
Зафиксировать-запомнить-понять
Тем глубже погружаешься в ротковскую пустоту цвета
В которой только живой беспощадный гул
Только чистое расширенное любование

Тигран Туниянц¹

СТАНЦИЯ ПРОМЕЖУТКА

На ровном месте взвивается смерчик слова.
Только бы не спугнуть эту «песнь червей дождевых
о солнце».

По мостовой, где беспробудно зажмурен булыжник,
Украдкой скользнуть в мир других измерений.

И тогда, пустота повернётся ко мне спиной,
И пищашей устрицею зевнёт страница.
Океан несговорчивый голос подаст свой,
И тело,
Холодной воды, коснувшись,
узнает,
что сшито из игл.

Муравьиною иноходью пробирается скорород,
подминаем травую, в прожилках листа плутает,

¹ Родился в 1979 году в Алматы. В 2002 году окончил Казахский государственный медицинский университет. Автор сборника стихов «Край дождя» (Алматы, 2003). Участник антологии современной русской поэзии за пределами России «Освобождённый Улисс» (2004). Стихи переводились на английский язык. (сб. «In Our Own Words», в. 3, 2001). Как поэт публиковался в журналах «Новый мир», «Аполлинарий», «Дактиль». Автор многих статей, рецензий и кинообзоров. Скончался в ноябре 2023-го года. Подборка публикуется посмертно.

расставаясь с возможностью обрести,
как наживку, лампочку глаз глотает.

Час не ровен, с озера дует ветер,
штукатурка покрылась гусиной кожей.
Он в ответе за данные людям сети,
мы в ответе за тех, кого от себя отучили,
что, в общем, одно и то же.

Кипятильник в стакане — тепло, бегущее по спирали,
суть — стремленье обнять, которому, к счастью, вняли,
потому как дело имел с водою,
а у неё собою оставаться
видимой нет привычки.

«Любимая» — других координат не осталось вовсе,
мир заносит,
тем белым, от которого слепнет осень.
Скрипы, стужа, следы, полозья,
хрумкающая белизна разломленного яблока — зима.

Слышишь, нас окружает смута снежинок палых,
хрупкий вальс мошек немых, подпалых.
Старый свет покрывают лучей морщинки,
в темноте загораются душ личинки.

Вздых глубокий, к словам подкравшись, сводит их
в е с н а нет,
обернувшийся миг безупречно ясен:
ожидание — бред.

Ж-ж-ж — в пространстве кружат снежинки,
белый трассер, секунд тропинки,

и пока ещё мы не подключились к рою,
позволь, я тебя укрою.

Здесь сыплется труха воспоминаний,
идёт обряд раскованного сна,
заложник пазухи — голубожилый камень,
пульсирует у райского виска.

Секутся стрелки в циферблатном корте,
а где-то там, на звуковой меже,
дыханье крепнет в тростниковой хорде,
и дым кроит пространство или же

является самим пространством,
но чтобы лучше разглядеть приют,
пора, как скальп, срывать протуберанцы
с тех, что там крошки времени клюют.

Да будет день!
Такой, что о нём захочется вспомнить
вечером,
в промежутке между восьмым и девятым часом —
в той области времени,
где всё становится важным,
и пули
аккуратно ложатся промеж уткой и
небом,
потому как всё происходит там —
в промежУтках.
В промежутке рамы натюрмортный пейзаж
обладает всеми чертами портретного сходства

с залиvistым смехом, держащим меня под руку.
В промежутке между двумя точками
рождается идея отрезка,
который,
если поднести вплотную к глазам,
от прямой вовсе не отличим.
И в промежутке между двумя людьми
в тёплые края летят птицы,
в холодные — Ангелы.
Частенько через станцию ПРОМЕЖУТКА
транзитом проезжает Бог, машет рукой из окна вагона
и шлёт потом телеграммы с видом облака, мутной ре-
чушки,
мягкой линии подбородка или пухленькой детской руч-
ки.
А иногда в этих межлюдных промежутках появляются
города
и телефонные станции.
Так думала точка, стоя в драповом пальто,
в промежутке
отрезка улицы.

ТЕОРИЯ

Орал Арукенова¹

МИФОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС ТРАВМЫ РОЖДЕНИЯ В ПОВЕСТИ АБИЖА КЕКИЛБАЕВА «КОЛОДЕЦ»

Повесть была написана Кекилбаевым в 1975 году. На первый взгляд, это произведение вневременного характера, поскольку в повествовании нет указания на определенную эпоху. Как отмечает И. Кукулин советская идеология практиковала на протяжении 50—80 годов прошлого столетия по отношению к национальным культурам «археизирующую» и «фольклоризирующую» норму, как один из инструментов советской культурной политики: «в случае необходимости советские национальные произведения представляли в публичном пространстве как вневременные и экзотированные». Повесть Кекилбаева представляет собой наглядный пример такого произведения.

В 20-е годы прошлого столетия советская власть для решения задач просвещения вступила во временный союз с писателями-представителями Алаш-орды. Этот факт способствовал появлению модернистских авторов, таких как, например, Магжан Жумабаев (1893—1938). Но к концу 40-х годов все алашординцы были репрессированы, большин-

¹ *Прозаик, поэт, литературовед, переводчик. Пишет на казахском и русском языках. Имеет степень магистра права и степень доктора философии по литературоведению. Научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. Произведения и научные статьи публиковались в сборниках, журналах и антологиях в Казахстане, Турции, Польше, Германии, Италии, США — в том числе, в переводах на немецкий, английский и итальянский. Лауреат независимого литературного конкурса «Алтын Қалам» (2019), лауреат литературного конкурса имени Ибрая Алтынсарина (2023). Живет в Алматы.*

ство расстреляны, в том числе и М. Жумабаев. Для казахской культуры это стало невосполнимой утратой, поскольку именно эти общественные деятели и писатели заложили основу авторской художественной литературы. Вместо них советское руководство выдвинуло главных авторов «национальных» культур: поэтов и писателей, писавших в фольклорном стиле, сказителей и импровизаторов, которые невольно становились глашатаями советской идеологии. В Казахстане эту роль исполняли Жамбыл Жабаев и Абай Кунанбаев. 70-летний Ж. Жабаев будучи гениальным ақыном-импровизатором не владел грамотой и русским языком, что позволяло писать и вещать от его имени целой группе авторов. Имеющиеся на тот момент произведения Жабаева подверглись тщательной редакции в русле соцреализма и публиковались миллионными тиражами. Всенародная слава ақына упростила задачу советской пропаганды.

Имя и творчество умершего в 1904 году Абая Кунанбаева было к тому времени популяризировано благодаря деятелям Алаш-орды, поэтому советским идеологам не стоило большого труда интерпретировать труды философа в пользу пропаганды соцреализма.

Вневременной и экзотизированный характер нарратива Кекилбаева в повести «Колодец» как раз подходит под рамки фольклорной стилистики: «национальной по форме и социалистической по содержанию».

В произведении Абиш Кекилбаев повествует о судьбе Енсепа, копателя колодцев, о древнем и сакральном ремесле кочевников. Отец Енсепа отказывается от родового ремесла и влачит нищенское существование, занимаясь починкой утвари, пока не заболевает неизлечимой болезнью и не умирает в молодом возрасте, оставив несовершеннолетних детей. После смерти отца Енsep воспитывается в семье родственника, где все еще живо родовое ремесло, и парень становится профессиональным копателем колодцев.

Искать и находить воду в пустынных степях и копать колодцы становится для Енсепа делом жизни.

Несмотря на вневременной характер нарратива, мы понимаем, о каком времени идет речь, ведь отказ от ремесла своих предков практически означает добровольный отказ от своих корней. А последующая болезнь и смерть отца Енсепа в молодом возрасте выглядит как завуалированное указание на определенную эпоху. В финале повести мы читаем между строк, что людям вскоре не нужны будут ни рукотворные колодцы, ни настоящие мастера-копатели. Уход Енсепа с морским течением в бездну, в царство ЖерСу можно обозначить как окончание эпохи кочевничества.

Ипостаси и уровни Другого в философии и науке рассматриваются в рамках различных теорий. Например, в теории психоанализа Зигмунда Фрейда другой — это «я» вытесненное в бессознательное инстинктом самосохранения. Например, мастера каракалпака, составившего конкуренцию Енсепу в повести Кекилбаева можно рассматривать как предчувствие преграды, как страх, присущий творческому началу, тем самым вытесненному в бессознательное. «Бессознательное я» хранит в себе тайны и травмы, которые ярко раскрываются в творчестве. Творчество, в свою очередь, задействует множество Других, начиная от этнической и генетической памяти до культурных, религиозных и духовных ценностей, сформированных и представленных в картине мира писателя. «Многие писатели в советское и постсоветское время выражают свои личностные и коллективные травмы через образы Другого, воплощая их в разные персонажи, события, явления и процессы».

Людьми свойственно переносить человеческие особенности и характеристики на животных и природу. В дискурсе природы Д. Пирсоном выделяются четыре категории: природа и гендер, антропоморфизм, природа и социальная структура, социальная концепция природы.

Антропоморфизм — это приписывание человеческого облика и свойств природе или божеству. Первобытное мышление наделяло природные явления и объекты некой разумной жизненной силой, подобной той, которую человек ощущал в себе самом. Истоки религиозного мироощущения можно усмотреть и в первых попытках человека воздействовать на эту одушевленную жизненную силу средствами убеждения или мольбы. Позднее объекты поклонения стали наделяться и человеческим обликом, поэтому большинство религий (особенно в их ранней народной форме) можно охарактеризовать как антропоморфные. Антропоморфизм является одним из приемов в искусстве, приближающим к интерпретации и пониманию природы человека.

В повести Абиша Кекилбаева представлено много образов Другого, среди которых присутствует стихия воды и земли. Земля и вода — это репрезентация богини ЖерСу в тенгрианстве. Это пространство между средним миром, где живут люди, и нижним миром, куда и устремляется Енсеп, в подземное пространство, где правит Еркиг. «Осуществление коммуникации, одной из основных жизненно необходимых потребностей человека как „социального животного“, невозможно без осознания Другого как равноценного партнера, без признания его права на различие». Для того чтобы найти воду в бескрайней степи, копателю колодцев необходимо сохранять определенный баланс во взаимоотношениях с ЖерСу, что и помогает главному герою Кекилбаева находить воду. Земля и вода — это стихии, с которыми взаимодействует Енсеп. Обследуя землю, он находит источник воды, но чтобы добраться до источника, ему надо спуститься в царство Еркига. Енсеп как никто другой чувствует эти стихии, его «коммуникация» с ЖерСу предрасположена генетически, она необъяснима, она подсознательна, именно поэтому он не может объяснить природы своего притяжения к водной стихии.

Отто Ранк в работе «Травма рождения и ее значение для психоанализа» полагает, что в ряде успешно доведенных до конца случаев психоанализа, в конечной фазе процесс излечения бессознательного совершенно закономерно воплощается в типичной символике рождения. Он также отмечает, что «речь идет об известной фантазии повторного рождения, в которой воля пациента к выздоровлению приводит к излечению». Например, главный герой Владимира Маканина, Ключарев, в повести «Лаз» производит множество актов повторного рождения, «выражающихся в мучительном проникновении, а затем высвобождении из многочисленных входов-отверстий, самой желанной из которых является подземный лаз: воплощение лоно матери-земли». Как пишет Отто Ранк, возвращаясь в фантазиях в лоно матери, «человек пребывает в расслабленном положении в полутемном помещении, в полузабытьи, в почти свободном от требований реальности состоянии фантазирования (галлюционирования)».

Подобно персонажу Маканина, Енsep стремится под землю, в лоно матери, в царство Еркилга, где обретает покойствие. Также как и герою Маканина, ему приходится жить в двух мирах. Это жизнь вытесненной травмы рождения (бессознательное). По мнению А. Абдуллиной: «Вода представлялась в различных мифологиях в качестве первоначальной субстанции, одной из фундаментальных стихий мироздания. В архетип воды соответственно входит целая система архетипических образов и мотивов, многозначно раскрывающих его общую семантику».

Таким образом, колодец для Енсепа — свое собственное надежное укрытие, лоно матери земли, личное бессознательное героя/автора повести. Енsep боится потерять связующее звено между средним и нижним миром, реальностью и вытесненными желаниями, в процессе постоянного повторного рождения, которое приводит его в конце концов к слиянию с водной стихией, возвращает его в лоно «матери».

Травма рождения — самая глубокая травма, хранящаяся в бессознательном каждого человека, родившегося естественным путем (в отличие от кесарева сечения). Сублимация родовой травмы обладает универсальным посылом и вызывает реакцию у каждого человека. Как отмечает Ранк: «Руководством в данном случае должно быть фрейдистское положение о том, что любой аффект страха сводится в основном к физиологическому страху рождения (удушьё)». Ранк также утверждает в связи с этим, что «все виды страха основаны на травме рождения, а все виды удовольствия в конечном счете стремятся к восстановлению первичного внутриутробного удовольствия». Несмотря на страх и опасность, Енсеп продолжает копать колодцы, словно для достижения «первичного внутриутробного удовольствия» он готов перешагнуть через любое препятствие. «Енсеп стоял, парализованный страхом, боясь пошевелить даже пальцем. И все же он решился, наклонился, ощупал холодные, сырые стены колодца и плоский, как доска, камень. В этой могиле не было никого, кроме него. Тревога набатом звенела в его ушах ««Бум-бум-бум»».

Социально приемлемая мотивация, согласно которой Енсеп останется в памяти людей как человек, построивший самый глубокий колодец, рассыпается в конце повести, потому что на самом деле колодец будет называться: «колодец в котором умер Енсеп». Эта финальная точка повествования соответствует подсознательному стремлению Енсепа вернуться в материнское лоно после многочисленных актов перерождения в попытке преодолеть травму рождения.

Архетип воды представлен в различных мифах как один из космических

первозлементов, как первоначальная субстанция, из которой возникло все живое. Амбивалентное стремление Енсепа к силе земли-воды аналогично стремлению вернуться к первоэлементу. Архетипические смыслы воды отражены в образе колодца — источника воды. На протяжении многих

веков целительная сила приписывалась воде из подземных источников. В сказках и мифах, родникам и колодцам во все времена приписывались свойства очищения, лечения болезней, утоления жажды и голода. Тайна колодца сочетает в себе тайну земли и воды. Выражение «су көзі» (источник воды) дословно переводится с казахского языка как «глаз воды», что означает связь с прошлым, с миром мертвых и поэтому обладает магическими свойствами, кроме того, как жизнь, как способ связи между тремя стихиями: воздухом, водой и землей. Цель Енсепа в повести — добраться до источника воды на дне колодца.

Символический смысл образа колодца — это реализация изначальных смыслов архетипа воды и ассоциативных компонентов, среди которых спасение, жизнь, знание, истина, чистота, в том числе смерть на глубине: от глубины памяти до глубины могилы в недрах земли. Например, в исламе, колодец Бархут — это могила пророка Худы, где Худа в переводе с персидского означает Бог. Следовательно, колодец Бархут — это могила Бога.

Согласно теории К. Юнга, вода — символ бессознательного, недаром мысли Енсепа противоречивы и амбивалентны, он мучается под землей в темноте и сырости, но раз за разом снова возвращается туда.

Наряду с эсхатологическими ассоциациями вода является также прообразом времени. «Вода одновременно является символом возрождения как живительная влага в фольклоре». Енsep пытается рыть все глубже и глубже, словно хочет добраться до центра земли. «Мастер бьет молотком и углубляется в землю в сырости и темноте. Эта монотонная, утомительная работа изнуряет и изматывает даже самых сильных, выносливых и бесстрашных, как дьявол». Каждый раз, приближаясь к источнику на дне колодца, боясь погибнуть под натиском бьющей из-под земли воды, Енsep дает себе зарок больше не приближаться к колодцу: «И дает обет в душе: Господи, если только мне повезет на этот раз, если я выберусь

отсюда целым и невредимым, если я не погибну, я никогда, никогда, никогда больше не буду копать колодцы». Тем не менее через несколько месяцев «он заново строил дырявую хижину в новом месте и брался за лопату и лом».

Фольклорная и литературно-бытовая мифология составляет не только основу сюжета повести Кекилбаева, но и вносит свой вклад в динамику его построения. В повести раскрывается картина мира кочевника, в котором человек проводит большую часть своей жизни в движении, находясь в одиночестве. Однако человек, как писал Э. Фромм, одновременно одинок и связан с другими: «Он одинок в том смысле, что он уникальное существо, не идентичное никому другому, и осознает себя как отдельную личность. Он должен быть одинок, когда ему приходится выносить суждения или принимать решения силой своего разума». В нарративе Кекилбаева почти не уделяется внимания семье Енсепа, его жене и детям. Описание женитьбы главного героя составляет всего одно короткое предложение в произведении: «Вскоре Енsep женился на дочери сапожника Ихласа». В казахском эпосе и эпосе Центральной Азии основное внимание уделяется акту инициации: юноша совершает подвиги во имя своего народа, преодолевает препятствия и женится на своей возлюбленной, чтобы продолжить род. Кульминацией и финалом таких эпических произведений является свадьба. Кекилбаев меняет традицию народного эпоса, повествуя обо всей жизни главного героя, подробно останавливаясь на завершающей стадии земного пребывания, и на философском вопросе о смысле жизни. Это еще раз свидетельствует о важности акта сублимации, главной терапевтической, целительной цели автора, которую он ретроспектирует на образ своего главного героя.

В мировоззрении кочевника мир представляет собой разные уровни, проживаемые циклически и в постоянной динамике. Непрерывность жизни, ее постоянное обновле-

ние — главная составляющая тенгрианского мира, и человек является ее частью. Енсей, выполнивший свою социальную миссию как продолжатель рода и копатель колодцев, полностью отдается своему бессознательному желанию: он устремляется в стихию, где течет подземная река, олицетворяющая материнскую плаценту и соединяющая его с морем-космосом. Согласно тенгрианским/кочевым верованиям, смерти нет, но есть последовательный цикл существования, подобный смене погоды и времен года, поэтому физическая смерть означает продолжение жизни.

В тенгрианском мировоззрении художественное произведение уподобляется мифу с нелинейным повествованием. В произведении, как и в мифе, стирается граница между личностью и пространством, материей и духом, и, что интересно, между реальностью и художественным вымыслом. Главный герой Кекилбаева находится на границе двух миров: среднего и верхнего, земного и потустороннего. Эта граница сходна с процессом «перехода от сознательного к бессознательному», который, по мнению В. Руднева и является конечной целью психоанализа.

Мифологическое сознание, заложенное в основу творчества, характерно для многих писателей Центральной Азии советского периода. Ч. Айтматов опосредованно использовал мифы практически во всех своих произведениях. Например, в романе «Белый пароход» он использует миф о самоубийстве Бога. Это традиция модернистского направления начала XX века: гомеровский миф определил структуру «Улисса» Дж. Джойса, «Замок» Ф. Кафки основан на мифе о Сизифе, а «Волшебная гора» Т. Манна не что иное, как аллюзия к мифу о Тангейзере.

Для писателей Казахстана и Центральной Азии мифы играли роль так называемого буфера в эпоху идеологической цензуры. Для Кекилбаева в повести «Колодец» эта задача оказалась решаемой, поскольку для советской цензуры мифы были пережитком, а творческая сублимация автора

прочитывалась как рассказ о тяжелой жизни бедняка, копающего колодцы, и его трагической судьбе в условиях отсталой кочевой жизни поскольку элементы мифологии и этнические мотивы априори относились тогда к архаическим.

Таким образом, само название повести является ключом к решению психологической проблемы, поставленной автором. С точки зрения психоаналитического литературоведения, повесть Кекилбаева «Колодец» — пример произведения, воспроизводящего феномен травмы рождения.

ДРУГОЙ ЯЗЫК

Илья Одегов¹

DAS SCHAF

*повесть Ильи Одегова «Овца» в переводе на немецкий язык
Кристины Хенгевосс²*

«Hej!» Jerlan blieb am geschnitzten Holzzaun stehen und lehnte sich dagegen, so dass die Zaunlatten zu knacken begannen. «Hej, Marat! Bist du zu Haus?»

«He-he-he, mach mir nicht den Zaun kaputt! Was schreist du so rum?» Rafisa sah aus dem Fenster und rieb sich mit einem Lappen die Hände trocken. «Er ist nicht da. Hat schon wieder ein Schaf verloren, der Mistkerl. Ein junges. Ohne das Lamm braucht er gar nicht erst nach Haus zu kommen.»

«Dann können wir ja, solange er nicht da ist, nun...» Jerlan

¹ *Писатель, литературный переводчик, преподаватель писательского мастерства. Автор четырех книг прозы. Лауреат литературных премий «Русская Премия» (2013), «Современный казахстанский роман» (2003). Дипломант IX Международного Волошинского конкурса (2011). Постоянный автор журналов «Новый мир» и «Дружба народов». Повести и рассказы публиковались в литературных журналах и сборниках Казахстана, России, США и Европы, переводились на английский, немецкий, польский и другие языки. Создатель онлайн-школы писательского мастерства «Литпрактикум». Живет в Алматы.*

² *Литературный переводчик с немецкого на русский язык. Родилась во Франкфурте-на-Одере, Восточная Германия, в 1956 году. Переводила стихи Гавриила Державина и Николая Некрасова, а также прозу Елены Макаровой, Ольги Славниковой и Татьяны Герингас. Она была удостоена гранта Loopen Excellence Grant. Член VdÜ (Ассоциации немецкоязычных переводчиков литературных произведений). Обладатель многочисленных стипендий, в том числе от Фонда немецких переводчиков и EÜK Straelen.*

grinste und leckte sich die Lippen.

«Glitz nicht so lüstern!», schrie Rafisa ihn an. «Sonst noch was? Und nimm die Pfoten vom Zaun weg! Wenn er kommt, sag ich ihm, dass du hier warst.»

«Nun, wie du meinst», Jerlan spuckte aus, breitete die Arme aus und ging pfeifend und tänzelnd weiter die Straße entlang. Rafisa warf einen Blick auf die Uhr. Ganze drei Stunden war Marat schon weg. Sie machte sich allmählich Sorgen, aber sie wollte auch das Lamm nicht verlieren. Schließlich war es das beste ihrer Lämmer. Ich rede schon in der Vergangenheit, erappte sich Rafisa bei dem Gedanken, und ihre Stimmung verschlechterte sich noch mehr. Auf einmal ein Zischen und Knistern in der Küche – oh je! Sie hatte den Schaum nicht abgeschöpft! Rafisa rannte ins Haus, gerade noch rechtzeitig, warf geschickt den Deckel vom Topf, drehte die Flamme klein und schöpfte mit der Schaumkelle sorgfältig, ohne die in der Mitte blubbernden Bläschen zu berühren, den braunen Schaum von der Brühe. Sie legte den Deckel wieder auf, schob ihn geckenhaft etwas zur Seite, und setzte sich, um Kartoffeln zu schälen. Ihr beim Schälen zuzusehen war eine Freude, die Schalen lösten sich in gleichmäßigen, hauchdünnen Spiralen.

Im Fernsehen liefen wieder die Nachrichten. Rafisa mochte die Regionalnachrichten nicht, misstraute ihnen. Sie hatte im ganzen Land Verwandte, und wie oft kam es vor, dass im Fernsehen über schreckliche Dinge berichtet wurde, worauf Rafisa mit dem Handy in der Hand, nur mit dem Kittel bekleidet, auf den hinter dem Dorf gelegenen Hügel rannte: «Anel, Asamat! Wie geht's euch? Seid ihr wohlauf? Bei euch war ein Erdbeben? Was? Ihr habt nichts bemerkt? Es soll Opfer gegeben haben Ach, ihr Lieben, ich mache mir Sorgen um euch! Gut-gut, ich bin ja schon still!»

Aber wie soll das gehen, sich keine Sorgen zu machen, schließlich sind das keine Fremden, die eigenen Kinder schließlich, auch wenn sie schon erwachsen sind und studieren.

Oder aber im Fernsehen wird berichtet, es habe einen friedlichen Streik gegeben, dabei kann Kudaibergen-aga seinen Sohn seit jenem Streik, also seit zwei Wochen, nicht mehr ausfindig machen. Immerzu versucht er, ihn anzurufen, seine Freunde zu erreichen – ohne Ergebnis. Es heißt, sie hätten ihn direkt vom Streik weggeholt, oder sogar umgebracht, dreimal Holz! Alle schweigen, keiner will etwas wissen, sie haben entweder selbst Angst oder sie wollen Kudaibergen nicht verstören. Oh, Allah ...! Das Fernsehen aber lügt, den Nachrichten kann man nicht trauen, sie sollten lieber die Serie schon früher am Abend bringen.

Rafisa zog ein gewaltiges Stück Fleisch aus dem Topf, schüttete die kleingeschnittenen Kartoffeln und Zwiebeln hinein, stellte die Flamme klein und ging aus dem Haus, um nachzusehen, ob sich die Hühner nicht schon wieder in den Nachbarhof verirrt hatten. Sonst würde sie sich vor dem Gezeter kaum retten können. Früher hatte Ljolka auf die Hühner aufgepasst, ihr Hofhund, klug wie ein Teufel war er, aber Ljolka war alt geworden, lag nur noch faul auf der Treppe vor dem Eingang und wedelte, wenn er Rafisa sah, leicht mit dem Schwanz, als wolle er um Verzeihung bitten. Der Tag war heiß, die Hühner zockelten mit gespreizten Flügeln im Schatten des Hauses um den Wassertrog herum. Rafisa ging über den Hof, machte einen Rundgang durch den Gemüsegarten, bog hier eine festgebundene Tomatenpflanze zurecht, zupfte da ein wenig Unkraut und trat durch die Gartenpforte auf die Straße. Im Schatten einzelner Ulmen schliefen Hunde. Still, wie leer, standen die Häuser, nur hi und da stieg aus den Schornsteinen über den Dächern ein wenig Rauch. Rafisa wusste, dass die Stille trügerisch war. In jedem der Häuser waren fleißige Hausfrauen zugange: kneteten Teig, wiegten Säuglinge, stopften Kasi - Pferdewürste; in zwei bis drei Stunden würde die Sonne sich senken, es würde kühler werden, und dann würden sie alle aus den Häusern kommen, auf den Bänken vor den Häusern sitzen und rauchen, durch die Straßen spazieren. Dann würden die

Bengel aus den Stuben gesprungen kommen, und wehe, eines der Hühner wagt sich dann noch auf die Straße! Keinen Flügelschlag würde es mehr tun – in den Händen dieser Schlingel sind Katapulte wie Feuerwaffen. Jetzt aber war es noch zu heiß, deshalb war auch kein Mensch zu sehen. Oder doch, wer kam denn da an? Doch wohl nicht Marat? Rafisa kniff die Augen zusammen, schützte sie mit den Händen vor der Sonne Teufel auch, das war schon wieder Jerlan, dem Gang nach inzwischen besoffen. Rafisa raffte den Rock hoch, ging auf den Hof zurück und schloss die Pforte.

Gerade wollte sie den Hühnern Wasser geben, da sah sie hinter dem Küchenfenster einen dunklen Schatten. Wie von der Tarantel gestochen stürzte Rafisa ins Haus. Tatsächlich, auf dem Tischtuch saß ihre schwarze Katze Tschernucha und fraß genussvoll das Fleisch, das Rafisa auf dem Tisch vergessen hatte. Tschernucha war derart im Glück, dass sie zögerte, sich nicht sofort losreißen konnte, und dieser Augenblick genügte Rafisa, um den Kartoffelstampfer zu ergreifen, der gerade zur Hand war, und der Katze einen vernichtenden Schlag direkt auf den Kopf zu versetzen. Tschernucha fiel schweigend vom Tisch.

Oje, nun hab ich das dumme Tier erschlagen, dachte Rafisa traurig und atmete tief durch. Das Fleisch muss ich sowieso wegschmeißen, und eine Katze haben wir nun auch nicht mehr. Jammernd hob sie Tschernucha auf, die wie ein alter Lappen in ihren Händen hing, und trug sie auf den Hof hinaus. Stand da und wusste nicht, wohin damit, da packte sie wieder der Zorn. «Verdammtes Aas!» Rafisa schleuderte die Katze in Richtung Straße, warf aber nicht weit genug, und die Katze fiel diesseits des Zauns zu Boden. Zum Teufel mit ihr, beschloss sie, wenn Marat kommt, soll er sie wegschaffen. Die Suppe muss er ohne Fleisch essen, selber schuld!

«Hej, Hausfrau!», klang es von der Straße herüber: «Fraau!»

«O Allah!», schimpfte Rafisa, sprang aus dem Haus und erblickte Jerlan, der sich mit den Ellenbogen auf den Gartenzaun stützte. «Du bist ja völlig besoffen!»

«Mach auf, Hausfrau», rief Jerlan und grinste: «Zu dir will ich!»

«Wie du gekommen bist, so kannst du auch weitergehen», winkte Rafisa ab. «Widerwärtiger Kerl, das hab ich nun davon. Ist man einmal nett zu einem gewesen, bleibt er bis ins Alter kleben. Nicht umsonst heißt es: wirf einen Stock in die Steppe, und du triffst immer dieselbe Stirn.»

«Sieh doch, was ich hier habe», sagte Jerlan zärtlich und holte eine Flasche unterm Hemd hervor.

«Oh-oh, das hat mir gerade noch gefehlt!», rief Rafisa. «Wart nur ab, wenn Marat kommt, sag ich ihm, dass er dich windelweich prügeln soll.»

Jerlan verzog den Mund: «Marat, Marat – wo ist er denn, dein Marat? Der ist da, wo die andern auch schon sind: der lahme Saken, und Amantai, und Haliulla! Auf eine Mine getreten und peng! Lamm weg, Marat weg! Hähähä»

«Pfui, du Schlange, die Zunge soll dir verfaulen!», schrie Rafisa. «Verswinde!»

«Pass du auf, Zibbe!» Jerlans Augen wurden schmal. «Ich gehe, aber renn mir nicht hinterher!»

«Sieh zu, dass du wegbleibst», entgegnete Rafisa, ging ins Haus und kam mit der Kartoffelpresse in der Hand zurück.

«Glaubst wohl, ich hab Angst?», lachte Jerlan. «Nur zu!»

«Und ob!», erwiderte Rafisa, trat an den Zaun, holte mit ganzer Kraft aus, zielte mit der Kartoffelpresse auf Jerlans Kopf, doch der drehte sich erstaunlich leicht weg, riss ihr die Presse aus der Hand und warf sie in den Straßenstaub. Dann maß er Rafisa mit einem langen Blick, spuckte wütend aus und ging die Straße hinab.

Nachdem Jerlan weg war, weinte Rafisa im Haus ein Weilchen vor sich hin, ging dann zur Straße, um die

Kartoffelpresse zu holen, die wurde ja noch gebraucht, wusch sie gründlich ab und legte sie in den Schrank.

Die ganze Nacht hindurch wurde Rafisa in ihrem Schlaf gestört. Das Kissen erschien ihr zu hart, der Mond blinzelte durch die Vorhänge, immer wieder bellten Hunde. Gegen drei Uhr stand Rafisa auf und trat, nur im Nachthemd, auf die Eingangstreppe. Hier hatte sie unter der Türschwelle ein Versteck: eine halbleere Packung Zigaretten, ein Billigfeuerzeug aus China. Rafisa rauchte selten und wollte nicht, dass Marat davon erfuhr. Sie zündete sich eine Zigarette an, tat einen tiefen Zug und blies den Rauchswall in die kühle Nachtluft. Überall zirpten Grillen, in der Ferne bellten noch immer Hunde, doch die Stille erschien davon nur noch durchdringender. Vom Tabakrauch wurde die Welt plötzlich unscharf, verschwamm, floss, gleich einem Fluss im Sommer, langsam an Rafisa vorbei, und die Sterne zitterten und glänzten wie glatte Steinchen auf dem Grund des Flusses. Rafisa rauchte die Zigarette zu Ende, stieg die Treppe hinab, wühlte mit den Händen ein kleines Loch in die Erde und steckte den Stummel hinein. Nach dem Rauchen waren ihre Beine wie Watte, die Finger gehorchten ihr nicht, doch auch die Gedanken an Marat verblassten und rückten in den Hintergrund. Rafisa spürte plötzlich, dass ihr kalt war, und ging eilig zurück ins Haus, wobei sie die Tür ungewollt heftig zuschlug. Von diesem Laut wurde der alte Ljolka wach, wedelte aus Gewohnheit mit dem Schwanz, gähnte ausführlich, begriff, dass es ein Fehlalarm war und wollte schon wieder einschlafen, konnte es aber aus irgendeinem Grund nicht. Ein vertrautes, schon fast vergessenes Gefühl zwang ihn, sich zu erheben, zu recken und den Hof zu verlassen. Die staubige Straße war leer, nur Gerüche flogen auf ihr umher, sie erregten und bewegten die alte Hundeseele. Ljolka folgte einem unerklärlichen Trieb und lief nach links die Straße entlang,

dorthin, wo sich in der Ferne dunkel die Silhouetten der buckligen Berge erhoben.

Rafisa erwachte später als gewöhnlich. Sie besann sich, zog sich eilig an, brachte flüchtig ihr Haar in Ordnung, und rannte ohne sich zu waschen auf den Hof, ließ die empörten Hühner aus dem Stall, schüttete ihnen Korn hin, gab ihnen Wasser, sprang wieder ins Haus, um den Teekessel aufzusetzen, und goss der Katze nebenbei Milch ins Schälchen. Dann stellte sie das Schälchen vor die Tür, als sie die im Gras liegende Tschernucha selbst erblickte. Aus der Ferne sah es aus, als hätten schon die Vögel an ihr gepickt. Erst Marat weg, dachte Rafisa kummervoll, und Tschernucha hab ich auch totgeschlagen, ich dummes Weib. Wenigstens ist Ljolka da, zwei Alte sind noch übrig. Sie schrie: «Ljolka! Ljolka!»

Doch niemand meldete sich, niemand kam an, wedelte mit dem Schwanz, stieß mit der nassen, kalten Schnauze gegen ihre Hände. Nur die Hühner gackerten dumpf, jagten einander vom Körnerntrog weg. Rafisa wartete einen Augenblick, schob dann langsam das Schälchen mit der Milch von der Tür fort und ging ins Haus zurück.

Nachdem sie sich mit kaltem Wasser gewaschen hatte, betete sie, briet sich schnell ein Ei und setzte sich in die Küche, um zu frühstücken. Die Sonne schien schon hell, deshalb war Rafisa in Eile. Ihrer Meinung nach musste Marat das verlorene Lamm in den Bergen suchen. Zu dieser Jahreszeit wurde das Gras in der Steppe trocken und welk, in den Bergen aber war es nach wie vor saftig, deshalb weideten sie das Vieh im Vorland. Rafisa aß, zog sich an, verschloss das Haus und ging in die Richtung, in der die fernen blauen Silhouetten in den Himmel ragten. Rafisa ging nicht oft in die Berge. Sie war nicht hier aufgewachsen, sondern näher am Zentrum des Landes, wo sich über viele Kilometer nur die Steppe hinzog — flach und eben,

mal grün vom frischen Gras, mal rot von Tulpen und Mohn, mal so schneeweiß glitzernd, dass es in den Augen schmerzte. Die Berge aber fürchtete Rafisa, zu massiv und schwer waren sie ihr. Die Berge umzingelten sie und schienen sich zusammenzuziehen, um sie gedanken- und mitleidlos zu zerquetschen. Deshalb stieg Rafisa auch diesmal nicht sehr hoch die Hänge hinauf. Sie lief bis zur Brücke über den Fluss, rief einige Male: «Mara-at! Huhu!», glaubte aber selbst kaum, dass Marat sie hören konnte, und eilte wieder hinab. Unterwegs begegneten ihr Hütejungen auf kleinwüchsigen, dünnbeinigen Pferden. Rafisa kannte sie und erkundigte sich, ob sie Marat gesehen hätten. Die Jungen wussten nichts, versprachen ihr aber, durch die Berge zu reiten und Marat auf jeden Fall zu finden.

Im Grunde ihres Herzens glaubte Rafisa nicht, dass man Marat so schnell finden würde. In ihr heulte ein unheimlicher und kalter Wind, ihr Herz pochte unregelmäßig; das war immer so, wenn ein nahestehender Mensch in Schwierigkeiten geriet. Deshalb ging Rafisa, nachdem sie aus den Bergen zurück war, gleich zu Serik, dem Abschnittsbevollmächtigten.

Sie hatten nicht gerade ein gutes Verhältnis zu ihm. Vor ungefähr zwei Jahren hatte man Marat und Rafisa einen jungen Hund vom Hof gestohlen, einen Alabai. Ein schöner, kräftiger Welpe war das, Marat hatte lange genau so einen gesucht, hatte ihn von Hirten geholt und viel Geld dafür bezahlt. Was für ein Ärgernis! Es gab keinen Zweifel, dass er gestohlen worden war. Marat und Rafisa waren an jenem Tag außer Haus gegangen, zum Geburtstag ihres Neffen, und als sie zurückkamen, sahen sie, dass die Hofpforte offen stand, das Schloss am Hundezwinger kaputt war, und der Zwinger leer. Sie waren sofort zu Serik gelaufen, dieser hatte sie eine Anzeige schreiben lassen und Hilfe versprochen. Dann aber gingen Tage und Wochen ins Land, und die Sache mit dem Alabai wäre irgendwann in Vergessenheit geraten, nicht ein Gerücht bis zu Rafisa gedrungen wäre: Serik habe die Diebe gefunden, diese

hätten ihm aber einen Zehnrubelschein zugesteckt und damit sei die Sache erledigt gewesen. Natürlich bestritt Serik alles, allerdings mit unstemem Blick. Und die Geschichte klang ja auch äußerst plausibel – Rafisa hatte ihm damals nicht geglaubt, und hätte sich auch heute nicht an ihn gewendet. Doch wusste sie nicht, zu wem sie sonst gehen sollte.

Serik saß in seinem Büro und trank Tee aus einer mit Gurken bemalten Teeschale.

«*Salam Aleikum*, Rafisa-apai!», rief er, erhob sich aber nicht aus dem Sessel. Offenbar war er bester Laune. «Was führt dich zu mir? Es ist doch wohl nichts passiert?»

«Doch, Serik», sagte Rafisa. «Mein Mann ist verschwunden. Gestern ist er losgegangen, ein Schaf zu suchen, und ist immer noch nicht zurück.»

«Ajajai!» Serik wiegte mitfühlend den Kopf:

«Nehmen sie Platz, Rafisa-apai. Eine Tasse Tee?»

«Serik, ich mache mir Sorgen», sagte Rafisa und blieb stehen. «Mein Herz ist außer sich. Marat war noch nie so lange weg. Wenn du mir helfen kannst, dann hilf. Wenn ich was ausfüllen soll, eine Suchanzeige oder so, dann gib her!»

«Was hast du es so eilig, Rafisa?» Serik stellte die leere Teeschale beiseite. «So viel Eile ist hier nicht vorgesehen. Dort liegt das Gesetzbuch, siehst du? Das Gesetz kennst du? Wir warten drei Tage ab, und wenn Marat sich bis dahin nicht meldet, geben wir eine Suchanzeige auf. Vielleicht hat er sich ja dünn gemacht? Hat er eine Liebhaberin, hahaha?»

«Warum sagst du so etwas?», entgegnete Rafisa leise. «Du kennst doch wohl Marat? Etwas ist passiert, das spüre ich. Sag mir einfach ehrlich, ob du mir helfen willst oder nicht.»

«Ich will dir ja helfen, aber ich kann nicht, habe keine Befugnis!» Serik breitete die Arme aus. «Gestern, sagst du, ist er fortgegangen? Dann komm übermorgen wieder, schreib deine Anzeige, und wir überlegen uns etwas.»

«Was bist du für ein gewissenloser Kerl!», rief Rafisa erzürnt aus. «Wenn's dir in den Kram passt, kennst du keine Gesetze,

aber sollst du mal den Hintern bewegen, winkst du gleich mit dem Gesetzbuch. Sitzt sich hier den Hosenboden blank! Schau dich doch an, was für eine Wampe du dir angefressen hast! Hast wohl Angst, dein Fett wird zu sehr durchgeschüttelt?»

«He-he!», rief Serik ärgerlich. «Pass auf, was du sagst!»

«Die Hämorrhoiden sollen dir aus dem Leib kriechen!», rief Rafisa außer sich und verließ den Raum.

Ljolka lief bis zum frühen Morgen, und bei Tagesanbruch kroch er unter eine weitverzweigte, hohe Tanne, wo er zwischen den knorrigen, knotigen Wurzeln eine bequeme, trockene, mit Moos und Tannennadeln gepolsterte Vertiefung fand, und schief ein. Doch er schief unruhig und nicht lange. Etwas ließ ihn beharrlich immer weiter streben. Er wachte auf, kletterte einen Hang zum Fluss hinab, trank sich gierig satt und lief weiter am Fluss entlang in die Berge hinauf. Die Bergluft und das Flusswasser verliehen ihm frische Kräfte, in ihm erwachte Neugier – Ljolka blieb immer wieder stehen schnupperte an Sträuchern, sog mit der nassen Nase ungewohnte Düfte ein, sprang ans Ufer, beobachtete, wie im Wasser die roten Flossen der jungen Osmanfische aufblitzten, versuchte mit der Schnauze, vorbeifliegende glänzende Käfer zu fangen. Es schien Ljolka, als habe er zu lange geschlafen und vergessen, wie wunderbar und fröhlich die Welt war. Und so gelangte er, während er Mäuse fing und vom aromatischen Duft der Berggräser niesen musste, zu einer kleinen Lichtung. Dort erblickte er Marat.

Marat lag auf dem Rücken. Sein Gesicht war zerkratzt, der linke Arm bis zur Schulter vom Wipfel einer herabgestürzten Kiefer eingeklemmt. Ljolka freute sich, sein Herrchen zu sehen, lief zu ihm und leckte ihm den Mund. Marat öffnete die Augen und sah seinen Hund überrascht an:

«Ljolka! Ljolka! Was machst du denn hier? Wie hast du mich gefunden?»

Ljolka wedelte nur mit dem Schwanz und blickte Marat ergeben an. War ihm das Ziel seiner unvorhergesehenen Wanderschaft bis zu diesem Moment nicht bewusst, so wurde es ihm jetzt klar, und ihn erfüllte Stolz auf seinen erfüllten Auftrag.

«Ljolka, mein guter», flüsterte Marat erfreut. «Komm her!»

Ljolka kam dichter heran. Mit der freien Hand nahm Marat seinen Tumar ab und legte dem Hund das Amulett um den Hals. Das Kettchen war zu lang für den Hundehals, und Marat zog es etwas fester, machte ungeschickt einen kleinen Knoten hinein, den er unter das Halsband steckte.

«Ist gut, Ljolka, jetzt lauf nach Haus. Und merk dir den Weg hierher. Wenn Rafisa meinen Tumar bei dir sieht, wird sie alles verstehen. Sieh zu, merk dir den Weg, führe sie hierher, verstehst du? Jetzt lauf! Lauf nach Haus! Nach Haus!»

Ljolka aber wollte nicht. Er verstand den Befehl, doch er verstand auch, dass er diesen langen Weg nicht umsonst gemacht hatte, er hatte sein Herrchen gefunden. Und nun sollte er wieder nach Hause laufen? Oh nein! Ljolka wusste nicht, was er tun sollte, und begann leise zu winseln, als wolle er schon im Voraus um Vergebung bitten.

«Lauf!», schrie Marat heiser und fuchtelte mit dem Arm. «Ab nach Hause! Zu wem sag ich das? Ket! Lauf!»

Ängstlich sprang Ljolka beiseite und winselte lauter. O nein, er würde sein Herrchen nicht allein hier zurücklassen. Doch er kannte auch Marats schwere Hand. Ljolka ging ein paar Schritte zurück, und legte sich in gespannter Erwartung auf die Erde, packte den Kopf auf die Vorderpfoten, schloss jedoch die Augen nicht, sondern schielte Marat ununterbrochen von der Seite an.

«Dummkopf!», rief Marat wütend und versuchte erneut, den Arm unter dem Baum hervor zu ziehen. Vergeblich. Der Arm steckte fest. Er seufzte und schloss die Augen.

Man hatte in den Aul keine Telefonleitung mehr verlegt. Rafisa besaß ein eigenes Mobiltelefon, doch sie benutzte es fast nie. Niemand telefonierte mit einem Handy. Netzempfang gab es nur auf dem Hügel hinter dem Dorf und auf dem Minarett ihrer kleinen Moschee. Auf das Minarett ließ man sie natürlich nur im äußersten Notfall, den Hügel aber musste sie erst erklimmen. Und wozu? Im Aul war es billiger und einfacher, selbst zu den Nachbarn zu gehen, oder einen der Jungen zu schicken, dem man dafür ein paar Schafknöchel versprach. War wirklich einmal etwas passiert, ging man zum Arzt, den hier alle nur Onkel Sascha nannten, und der mitten im Ort wohnte. Die einzigen, die man anrief, waren die Verwandten in der Stadt, und das in der Regel an den Wochenenden, nicht weil es einem selber besser passte, sondern weil man wusste: die Verwandten in der Stadt waren beschäftigt, immerzu auf Achse, und nur an den Wochenenden konnte man sich auch mal ausführlicher unterhalten.

Rafisa war außer Atem, als sie auf der glatten, festgetrampelten Kuppe des Hügel ankam, und nahm kurz auf einem blankgesessenen Feldstein Platz, um Luft zu holen. Als ihr Atem ruhiger wurde, kniff sie die schwachen Augen zusammen, hielt das Handy mal dichter, mal weiter vors Gesicht, hatte endlich die richtige Nummer eingegeben und drückte auf die Wahltaste. Der Ruf ging durch, das war schon mal gut, doch nahm am anderen Ende niemand den Hörer ab. Rafisa versuchte es noch mehrmals, aber vergeblich. Dass sie wieder hinunter musste, ohne jemanden erreicht zu haben, war ärgerlich. Rafisa seufzte, schloss die Augen und wandte ihr Gesicht der Sonne zu. Die Sonne blendete selbst durch die geschlossenen Lider. Ihre Hitze drang tief unter die Haut, und warme Bächlein begannen im Kopf zu fließen, als schmelze dort das Eis, und von dieser Eisschmelze begann Rafisa, ruhiger zu atmen, sie wurde innerlich weich und

entspannt. Eine Weile saß sie so da, bis alle Gedanken aus dem Kopf verschwunden waren, und ihr Zustand einem Traum glich; nur der äußerste Winkel des Bewusstseins hielt sich an der Grenze zwischen Schlaf und Wachsein. In diesem Zustand wurde ihr plötzlich alles klar: Sie musste in die Stadt fahren.

Als sie vom Hügel hinabstieg, traf Rafisa wieder die Hütejungen und war kein bisschen verwundert, dass diese Marat nicht gefunden hatten. Etwas anderes bewegte sie jetzt: wem sie ihr Haus anvertrauen könnte. Im Übrigen gab es nur eine Möglichkeit: Rafisas alte Freundin Natascha, die mit ihrem Sohn in der Nachbarschaft wohnte.

Natascha war gerade dabei, draußen Wäsche aufzuhängen, freute sich über Rafisas Besuch und lief sofort los, um Tee aufzusetzen. Dann saßen sie bei einer Schale kräftigen grünen Tees im Schatten eines kleinen Apfelbaums und rauchten verstoßen.

«Natascha, ich muss für einen Tag weg», bat Rafisa. «Schau doch bitte nach meinem Haus. Wenn du heut Abend deine Kuh reinholst, bring auch meine mit. Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, lass eins der Kinder ein-zwei Tage meine Schafe hüten. Und sieh nach dem Geflügel»

«Nun ist gut, ja!» Natascha winkte ab und lachte: «Als ob ich das nicht wüsste! Mach dir keine Sorgen, ich pass auf, als wärs mein eigenes, fahr du nur ruhig los. Vergiss aber nicht, den Ersatzschlüssel zu hinterlegen.»

«Oh-oh, in der Stadt ist vielleicht was los», sagte Alijuschka, knackte Sonnenblumenkerne und spuckte die weißen Schalen auf den Boden. «Habt ihr's gehört, hm? Die haben der Polente wohl erlaubt, auf Leute zu schießen!»

«Als hätten sie früher nicht geschossen!» Gulmira räusperte sich. «Sind das deine Neuigkeiten?»

«Und an Nauryz soll es dieses Jahr fünf Tage frei geben.»

«Du tust ja glatt, als würdest du arbeiten», grinste Sa-ure abschätzig. «Dabei traust du dich nicht mal an ein Schaf ran, nicht mal einen Teig für Beschbarmak kannst du ausrollen, aber redest von freien Tagen. In der Stadt haben sie vielleicht frei, hier aber wartet die Arbeit nicht. Wer soll denn die Schafe hüten? Und für die ganze Familie Essen kochen? der Orkan hat Kudaibergen das halbe Dach weggeweht, an den Feiertagen geht Alibek mit den Jungs hin, das Dach reparieren. Kudaibergen ist ja alt, sein Sohn ist verschwunden, nun hat er keinen, der ihm hilft.»

«Ja, aber Kairatik war schon immer ein Schafskopf», winkte Alijuschka ab, und zerbiss weiter geschickt die silbrigen Sonnenblumenkerne. «Er soll ja dem Adler auf unserer Fahne Augen angemalt haben. Nach dem Motto: der Adler muss wachsam sein. Ha! Nun haben sie ihn eingelocht. Gut so. Heute malt er dem Adler Augen an, und morgen vielleicht sonst was.» Sie prustete los, verschluckte sich an einem Kern und begann zu husten.

«Ach, Kairatik», seufzte Gulmira. «Ein guter Junge! Kudaibergens Ältesten haben sie bei der Armee fertiggemacht. Nur Kairat ist ihm noch geblieben.»

Rafisa kam mit einem karierten Kofferchen in der Hand die Straße entlang.

«Rafisa-apau, was ist, ist Marat wieder da? Hat er das Lamm gefunden?», lärmten die Weiber.

Rafisa setzte sich zu ihnen.

«Nein, er ist noch nicht wieder da», sagte sie müde: «Ganze vierundzwanzig Stunden ist er schon weg. Ich war bei Serik, der sagt, er kann mir nicht helfen. Die Hütejungen habe ich gebeten, ihn zu suchen — auch nichts.»

«Und unsere Männer?», meinte Sa-ure: «Man muss die Männer zusammenholen und die Berge durchkämmen, Marat kann doch nicht im Erdboden versunken sein.»

«Du vergisst, dass Bolatbeks Tochter heute Hochzeit hat?» Gulmira lachte: «Die Männer sind seit dem frühen Morgen dort,

schlachten das Rind, trinken Wodka. Denen ist nicht nach Marat zumute. Sind ja auch nicht mehr viele»

«Na gut, Mädels», meinte Rafisa müde. «Ich fahre in die Stadt. Marat hat dort einen Bruder bei den Organen. Auf den hoffe ich jetzt. Hauptsache, er ist noch am Leben. Ich habe solche Angst wegen der Minen»

«Was denn für Minen, wovon redest du, Rafisa-apau?» Gulmira platzte fast vor Lachen: «Ammenmärchen! Wenn man Jerlan, diesem Dummbatz, zuhört, erzählt er einem das Blaue vom Himmel! Dabei haben den lahmen Saken wohl eher die Wölfe gefressen. Und Amantai war im Winter unterwegs, im Schneesturm, der ist bestimmt erfroren. Und Haliulla ist einfach nur vor seiner Frau weggelaufen, in die Stadt, der hat doch vorher schon immer davon geredet. Viele hauen jetzt in die Stadt ab.»

«Möglich!» Rafisa nickte. «Vielleicht sind da auch gar keine Minen. Nur habe ich die ganze Zeit so ein Gefühl, dass da welche sind. Dass sie überall sind. Wenn da keine Minen liegen, warum laufen wir dann immer im Gänsemarsch, gehen nie einen Schritt zur Seite, lassen uns alles gefallen, he?» Sie warf den Kopf hoch und sah Gulmira unverwandt an. «Was, habe ich nicht recht? Du weißt es doch selbst. Wir leben wie auf einem Vulkan, können nichts dagegen tun. Na, bis dann, ich fahre in die Stadt, ehe es zu spät ist.»

Alijuschka hatte die ganze Zeit über geschwiegen; als Rafisa weit genug weg war, meinte sie kichernd:

«Und, habt ihr auch schon gehört, Mädels, unsere rechtschaffene Rafisa soll es mal mit Jerlan getrieben haben.»

Marat konnte gut erkennen, wie die Wolken zwischen den Wipfeln der Tannen schwammen, von den Gipfeln der Berge aus dorthin, wo Menschen waren, wo es warm war. Irgendwo unter ihm war das Rauschen des Flusses zu hören, so als sei er direkt

unter der Erde und man brauche nur tiefer zu graben, und der Fluss würde sich in die Freiheit ergießen.

«Stell dir vor, Ljolka, das Schaf hab ich nicht mehr gefunden. Ich hatte ja nicht mal bemerkt, dass es verschwunden war. Eigentlich hatte ich sie gar nicht weit weg geführt. Nun, was soll's! Ich weiß ja, dass ich von Rafisa eins aufs Dach kriege, aber ehrlich: ich bin da nicht so vertraut mit. Früher, das war ein Leben, da haben wir den Hirten die Schafe übergeben, für den ganzen Sommer, und konnten zu Haus ruhig ackern und was am Haus machen Das war gut! Jetzt gibt's nicht mehr viele Schafe, und kaum noch Hirten. Und Rafisa und ich – früher haben wir nur vom Vieh gelebt, aber jetzt – eine Kuh, sechs Schafe... naja, wohl nur noch fünf jetzt, ein paar Hühner, Enten. Dafür geht mehr Zeit und Kraft für die Landbestellung drauf. Korn hab ich gesät, ein ganzes Feld, Rafisa baut Gemüse an und kümmert sich um den Obstgarten. Ackerbauern sind wir geworden, keine Viehzüchter mehr. Aber eigentlich liegt mir das, es macht mir Spaß. Schafe hüten ist nicht einfach, das sieht nur so leicht aus. Dauernd muss man aufpassen, dass nichts passiert, keins in ein Loch tritt, sich ein Bein bricht, oder sich auf einen Hang verirrt, in den Sträuchern stecken bleibt oder, Allah behüte, krank wird.... Oh nein, viel lieber kümme ich mich ums Land, wühle mit den Fingern in der Erde nach den jungen Kartoffeln, so schön rund, mit zarter Schale, oder ich hoble Latten für den neuen Zaun. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir den schönsten Zaun im Dorf haben? Aber nun muss ich das Schaf finden. Ohne das Lamm macht Rafisa mich zur Schnecke. Oh, ich hab Respekt vor ihr. Ich hatte noch vor niemandem Angst, aber vor meiner Frau schon. Ihre Augen werden dann immer so.... Wenn Sie mich so anguckt, stockt mir sofort der Atem, und in mir zieht sich alles zusammen. Als hätte sie mich verbrüht. Aber nicht mit kochendem Wasser, sondern mit Eis! Aber wem sag ich das, du kennst sie ja, nicht wahr, Ljolka? Und vor allem, ist es meine Schuld? Wie oft habe ich zu ihr gesagt: ich hab keine Lust dazu, komm, sag ich zu ihr, lass

uns doch Sanjka anheuern, Nataschkas Sohn, aber nein! Du kommst damit besser klar als Sanjka, sagt sie, für ihn sind es fremde Schafe, aber für dich nicht. Ach, wie schön der Fluss da unten rauscht. Das Wasser ist bestimmt eiskalt und süß! Er murmelt, schnurrt wie ein Kätzchen.»

Marat hustete mühsam.

«Hör zu, Ljolka», er konnte die trockenen Lippen kaum noch bewegen. «Bring mir den Knüppel da, siehst du? Ich komm allein nicht ran.»

Ljolka witterte ein Spiel, sprang auf, begann, freudig um Marat herum zu springen und ihm das Gesicht zu lecken.

«Lass das!» Marat scheuchte ihn mit der freien Hand weg: «Zu Recht sagt man, kleine Hunde – ewige Welpen. Schau dorthin! Siehst du? Den dicken da! Den bring her, bitte! Hol! Apport! Na los, mein Kleiner!»

Endlich schien Ljolka zu begreifen, drehte sich auf der Stelle, versuchte zu erraten, was genau das Herrchen wollte. Marat griff vom Waldboden eine Hand voll Tannennadeln, schleuderte sie in Richtung des Knüppels und rief mit schwacher Stimme: «Apport!»

Ljolka sprang hinterher, begann in den Büschen zu scharren, gierig zu schnuppern, versuchte, etwas zu finden, das nach dem Herrchen roch, doch alles hatte nur den Geruch von frischer Erde, Harz und Dung. Als er nichts fand, beschloss er, Marat wenigstens eine Freude zu machen, ergriff den dicksten Ast – genau jenen Kiefernknüppel – und schleppte ihn mit schuldbehaftetem Blick (etwas Besseres habe ich nicht gefunden, Herr!) zu Marat.

Der freute sich: «Kluger Hund, kluger Hund! Gib her!»

Ljolka ließ den Stock fallen und wedelte mit dem Schwanz. Marat drehte den Ast, ergriff ihn am dünneren Ende und versuchte, das dickere unter den Baumstamm zu schieben, gleich neben dem eingeklemmten Arm. Der Ast war biegsam, knorrig, und es war schwierig, ihn darunter zu schieben: Jede Bewegung bereitete Marat Schmerzen. Er sah genauer hin und

bemerkte, dass der Baum dicht neben seinen Knien auf einem Stein lag, und dass links und rechts davon kleine Hohlräume waren. Dort schob er den Ast hinein, und es ging, nicht tief zwar, doch es ging.

«Hoffentlich hält er ...“, flüsterte Marat.

Der Boden war hier steinig, Marat aber brauchte etwas, um einen Hebel zu bauen. Er ertastete im Boden die Spitze eines größeren Steins und fing an, diesen mit den Fingern herauszukratzen. Als Ljolka sah, dass Marat in der Erde kratzte, sprang er hin, stützte sich mit den Hinterbeinen ab und begann, neben ihm freudig mit den Vorderpfoten zu scharren. Die Erdklumpen flogen Marat ins Gesicht.

«He, hör auf!», schrie Marat: «Tokta! Halt! Pfui!»

Ljolka blickte sein Herrchen erstaunt an, hörte aber auf, ging beleidigt beiseite und sah zu, wie Marat langsam den Stein ausgrub und sich dabei die Finger am harten, festen Boden kaputt rieb. Endlich lockerte sich der Stein. Marat rüttelte daran und zog ihn wie eine Rübe aus der Erde. Der Stein war gut geeignet – breit, mit flacher Unterseite und schrägen Kanten. Marat schob ihn unter den Ast und versuchte, diesen mit dem Knie weiter unter den Stamm zu drücken. Dann atmete er kräftig aus, um schwerer zu werden, beugte sich vor, warf die Beine über den Ast und stützte sich mit dem ganzen Körper auf das höhere Ende, nahm dabei seine freie Hand zu Hilfe. Der gefallene Baum bewegte sich kaum merklich, doch es reichte, um den eingeklemmten Arm ein wenig, einen Zentimeter nur, herauszuziehen. Immer wieder versuchte Marat, die Kiefer anzuheben, bis der Arm endlich frei war. Der Ärmel war völlig zerrissen, der Unterarm stark zerkratzt. Marat versuchte, den Arm zu beugen und die Finger zu bewegen, und es funktionierte.

«Allah sei Dank hatte unsere Familie schon immer gute Knochen!», rief er, auf dem Rücken liegend, aus und streckte die Arme gen Himmel.

Rafisa war schon seit Ewigkeiten nicht hier in der Stadt gewesen. Gern hätte sie ihre Kinder besucht – Aneletschka und Asamat, die eine Wohnung in der Nähe der Universität gemietet hatten, doch wollte Rafisa sie nicht damit beunruhigen, dass der Vater verschwunden war; und sie spürte auch, dass die Kinder inzwischen ihr eigenes Leben führten, in das man nicht einfach so ohne Vorwarnung eindringen durfte. Sie könnten ja Gäste haben, oder in der Wohnung herrschte Unordnung, oder sie hatten abends etwas anderes vor. Nein, das ging nicht. Sollten Sie in den Aul kommen, dann würde Rafisa schon für sie sorgen, einen Plow zubereiten und Beschbarmak, und Manty backen. Und sie würden frische Luft atmen, denn hier war das Atmen ja völlig unmöglich. Keine Luft, nur Rauch! Kein Wunder auch, wenn man all die Busse am Busbahnhof sah, deren Auspuffrohre schwarze Wolken ausstießen. Und wenn man den Blick hob, sah man ringsumher gestreifte Schlote, die mit offenen Mäulern in den Himmel ragten, und aus den Mäulern stieg solch dichter und kompakter Rauch, dass die Sonne nicht mehr zu sehen war. Rafisa band sich das Kopftuch vors Gesicht, um leichter atmen zu können, und ging hinüber zum Stadtbus.

Die Strecke war weit, doch der Bus raste wie ein Besengter. Der Fahrer fuhr zeitweise auf die Gegenfahrbahn, nahm mit Mühe die Kurven, hupte und fluchte vor sich hin, schimpfte auf die Fußgänger, die anderen Kraftfahrer, die Beamten, die die Straßen nicht reparierten. Der Zustand der Straßen war tatsächlich schlimm, als seien Panzer auf dem Asphalt entlanggefahren. Es war keine Fahrbahn mit Schlaglöchern und Aufwölbungen; nein, sie bestand nur aus Schlaglöchern und Aufwölbungen, die längs und quer verliefen, mit offenen Gullis, frischen, bauchigen Asphaltflicken, schmalen Rinnen und herabgefallenen Ästen.

Seltsam, dachte Rafisa, als sie aus dem Fenster sah, dies ist doch eine Stadt, hier gibt's so viele Menschen, so viel Geld. Und

die können nicht mal die Straßen reparieren? Da sind ja bei uns im Dorf die Straßen viel besser, hier aber.... Seltsam! Früher gab es hier auch Bäume, das weiß ich noch, und jetzt stehen stattdessen überall diese gewaltigen Klötze, alles Einkaufs- und Freizeitcenter. Kaum sind wir an einem vorbei, kommt schon das nächste. Gibt es denn in der Stadt nur noch Einkaufen und Spaß? Früher war alles normal: man fuhr durch die Stadt, sah vor den Schulen Kinder laufen, aus den Bibliotheken grüppchenweise Studenten kommen, aus den Museen Ausländer, abends sah man festlich gekleidete Familien mit Kindern auf dem Weg ins Theater, morgens die Omas auf dem Weg zur Poliklinik, und es war klar: Hier wurde gelebt. Jetzt aber, wo sind die Kinder? Eine halbe Stunde sitze ich hier schon im Bus und sehe nur mürrische Erwachsene und all diese Glas- und Betoncenter. So viel Spaß haben die Leute wohl doch nicht in diesen Centern, sonst würden sie nicht so unglücklich dreinschauen. Wenn ich mich ansehe – was brauch ich denn zum Glück? Ich weiß noch, wie Asamat laufen gelernt hat, der kleine Tollpatsch, hat sich in seinen eigenen Beinchen verheddert, aber glücklich war er und hat gestrahlt, und wenn ich daran zurückdenke, muss ich immer lächeln. So wie jetzt. Oder wie ich Anelka, da war sie noch keine zwei, ein Zöpfchen geflochten habe, und ein Band drangebunden, und sie dann zum Spiegel getragen, und sie hat sich angeschaut und war starr vor Entzücken, ein Mädchen eben. Und dann hat sie gelacht – lauter Zähnchen, die Wangen voller Grübchen. Ich brauchte keine Freizeitcenter, ich war auch ohne sie glücklich....

An einer Kreuzung sprang ein Verkehrspolizist dem Fahrzeugstrom entgegen, hob gebieterisch den Stab und stoppte den Verkehr.

«Die lassen wieder welche durch», sagte ein grauhaariger Mann in einem abgetragenen Jackett, der neben Rafisa saß: «Sie sind wohl nicht von hier?»

«Ja», sagte Rafisa nur.

Die Autofahrer im Stau begannen zu hupen und zu blinken, gaben aber bald auf, als sie merkten, dass es vergeblich war. Im Bus war es furchtbar stickig, und der Fahrer öffnete die Türen, um Luft reinzulassen.

Endlich flogen mit laut heulenden Sirenen zwei lange schwarze Wagen vorbei, deren Lichterketten in verschiedenen Farben schillerten. Ein durchdringender Pfiff, und der Fahrzeugstrom kam langsam wieder in Gang.

«In der Antike fuhren die Imperatoren auf Feuerwagen zum Volk, so war ihr Erscheinen effektvoller», meinte Rafisas Nachbar. «Nur sehnten sich die Menschen damals nach Licht, waren unwissend, kannten solche Spezialeffekte nicht. Wenn die Feuerwagen kamen, haben sie sich bestimmt vor lauter Ehrfurcht auf den Boden geworfen. Heutzutage wissen wir nicht mal, wer in den Autos sitzt. Die sahen auch nicht wie Feuerwagen aus, mehr wie eine chinesische Neujahrstanne mit Durolight-Girlanden. Vermutlich haben sie – die in den Autos meine ich – sich trotzdem gewundert, warum die Leute vor ihnen nicht auf die Knie fallen.»

«Ich vermute, die da drinnen sehen überhaupt nichts», entgegnete Rafisa. «Solche schwarzen Fenster. Sie können einem sogar leidtun, sitzen da im Dunkeln wie in einem Sarg.»

«Oh», seufzte der Nachbar: «Es gibt schon erstaunliche Technologien. Vielleicht haben sie ja Bildschirme in den Fenstern, die nur eine schöne Welt zeigen. Das da», er nickte in Richtung Fenster, «wollen sie gar nicht sehen.»

«Ich muss in der Gagarinstraße aussteigen», sagte Rafisa. «Ist das noch weit?»

«Die nächste», erwiderte der Nachbar bedeutungsvoll.

Das Haus war leicht zu finden. Es stand mit der Stirnseite zur Straße, und unter dem Schild mit der weißen Hausnummer auf blauem Untergrund stand in großen schwarzen, krummen Lettern: Gagarinstraße 21. Die Tür öffnete ein hochgewachsener, mürrischer Mann im schwarzen Bademantel.

«Grüß dich, Rustam», sagte Rafisa...

Als erstes stieg Marat zum Fluss hinab, und der glückliche Ljolka rannte neben ihm her. Am Fluss trank er sich genussvoll satt, riss den kaputten Ärmel von Hemd und wusch sich gründlich den verletzten Arm. Das Wasser spülte das angetrocknete Blut ab, und aus den tiefen Kratzern suppte frisches. Marat pflückte einige Wegerichblätter, zerkaute sie, schmierte den erhaltenen Brei auf den Arm und wickelte sein Hemd darum. Die Sonne senkte sich bereits, und er war in Eile, denn ihm war klar, dass er die Berge noch im Hellen verlassen musste. Marat kannte die Bergpfade gut und beschloss, einen kleinen Umweg zu einer Schlucht zu machen, die wegen ihres schwer bezwingbaren Hanges berüchtigt war. Sie glich einer Falle: Es kam vor, dass Schafe auf der rutschigen Erde ausglitten und nicht wieder hochkamen. Marat wusste, dass es auf jeden Fall Ärger mit Rafisa geben würde, weil er gestern nicht nach Hause gekommen war, und er hoffte daher, wenigstens das verlorene Lamm wiederzufinden. Die Chance war gering, aber man weiß ja nie! Bergab ging es leichter, das eisige Bergwasser hatte Marat neue Kräfte verliehen, und er hoffte, dass er Glück haben würde. Der Weg führte zunächst über den Nordhang, unter hohen stillen Tannen entlang, dann zum Westhang, wo es Kahlstellen, magere Birken und Lichtungen gab. Ljolka rannte voraus, blieb aber an einer Biegung plötzlich stehen. Sein Fell sträubte sich über dem Nacken, die Ohren wurden doppelt so groß, sein ganzer Körper war angespannt. Marat ging näher heran und blieb ebenfalls stehen.

Es waren zwei Wölfe: ein großer kräftiger, mit breitem Nacken, und eine etwas kleinere Wölfin mit kurzen Ohren und einer flachen, langen Schnauze. Konzentriert rissen sie den blutigen Leib eines Schafes in Stücke. Und da begann Ljolka, ermutigt durch die Anwesenheit seines Herrn, mit heiserer, fremder Stimme zu bellen. Die Wölfe hörten das Bellen, hoben

die Köpfe und erstarrten. Ljolka fing an zu knurren und ging langsam auf sie zu.

«Ljolka, zu mir!», zischte Marat verzweifelt, doch Ljolka hörte ihn nicht mehr. Die Wölfe rührten sich nicht von der Stelle. Ljolka wusste, dass er zwei Gegner vor sich hatte, die beide kräftiger und jünger waren als er. Er hatte fürchterliche Angst, doch die Verantwortung für sein Herrchen war größer. Er zitterte am ganzen Leib, dennoch näherte er sich den Wölfen immer mehr, bis er auf Sprungweite herangekommen war. Die Wölfe sahen ihn mit starrem Blick an. Marat begriff, dass er nicht mehr zögern durfte, und begann fürchterlich zu schreien, fuchtelte mit den Armen und lief auf die Wölfe zu. Die Wölfe zuckten auf, als lösten sie sich aus einer Erstarrung, liefen jedoch nicht sofort weg, sondern zogen sich unwillig zurück, bleckten dabei die weißen Zähne, bis sie zu den Sträuchern kamen. Dort erst wandten sie sich um, um davonzulaufen. Ljolka hatte Mut gefasst, warf sich hinterher, und da drehte sich die Wölfin für einen Moment um, machte eine flüchtige Bewegung, Ljolka winselte auf, begann zu röcheln und fiel auf den Rücken. Marat lief hin und sah, dass aus Ljolkas Hals links ein großes Stück herausgerissen war. Das Blut floss schnell aus Ljolka heraus, doch noch lebte er, versuchte krampfhaft zu atmen und blickte Marat an, als habe er große Schuld auf sich geladen und bitte ihn jetzt um Vergebung. Marat legte sich neben seinen Hund und weinte. Er weinte so lange, bis Ljolka aufhörte zu atmen.

Die Feier begann rechtzeitig. Schon gegen zwei Uhr nachmittags versammelten sich die Gäste in der geräumigen Stube, setzten sich an den Dacharstan, das Festmahl, das direkt auf dem Fußboden angerichtet war. Bolatbek, der Brautvater, faltete die Hände zu einem Boot, las vor dem Essen ein Gebet, fuhr mit den Handflächen über sein Gesicht, und alle taten es

ihm gleich. Die Stimmung entspannte sich, auf Knien füllten sich die Gäste Beschbarmak auf, schenkten sich Wodka ein, aßen, tranken. Bald klangen ihre Stimmen lauter und fröhlicher. Und wenn Menschen fröhlich sind, erinnern sie sich an Erfreuliches. Sie begannen, über gute, ertragreiche Jahre zu reden.

«Was hatte ich für Hammel!», schrie ein kerniger Alter, dessen Namen alle schon vergessen hatten. «Der eine wog siebenhundert Kilo! Wie ein Esel! Dem platzte fast der Fettschwanz! Und Kühe, Bullen! Einen hatte ich, der wog tausendzweihundert Kilo! Wenn der stand, konnte ich mühelos eine Palette mit Eiern drauf legen. Wichtig war, dafür zu sorgen, dass er sich nicht bewegte. Füttern und schlafen, füttern und schlafen, fünf Jahre lang. Ja-a, das waren noch Zeiten....»

Nach nicht einmal einer Stunde begaben sich alle, schon ordentlich angeheitert, mit einem Tonbandgerät auf den Hof, schalteten es auf volle Lautstärke und begannen wild zu tanzen. Das Gerät war alt, es knarrte und knisterte, mal leise, mal laut wehklagend, doch so sehr es sich auch mühte, das gemeinsame Stampfen der Füße war doch lauter. Der Staub stieg immer höher, bis er die Tanzenden bis zum Kopf einhüllte, so dass man aus fünf Metern Entfernung niemanden erkennen konnte. Doch auch die Musik endete bald, alle gingen müde, aber zufrieden ins Haus zurück. Sie tranken ein letztes Glas und liefen auseinander, um ihrer Arbeit nachzugehen, als sei nichts gewesen: die Frauen holten die Kühe von der Weide und brachten sie zum abendlichen Melken, manche liefen nach Hause, das Abendessen vorzubereiten; die Männer gingen ihre Melonenfelder düngen, die Dächer flicken, manch einer vollzog eilig die Gebetswaschung, um noch rechtzeitig zum Asr-Gebet zu kommen. Das junge Paar flatterte ebenfalls davon, und nur Bolatbek ging nirgendwohin, sondern schlief auf der Stelle ein, feierte im Traum weiter die Hochzeit der geliebten Tochter, warf hin und wieder den Kopf hoch und murmelte selig unverständliche Trinksprüche.

«Glaubst du, das geht so einfach?», sagte Rustam und maß mit den Schritten das Zimmer aus. «Ich kann doch keinen Hubschrauber dorthin schicken, wo soll ich denn einen Hubschrauber hernehmen?»

«Es geht um deinen Bruder», wiederholte Rafisa ruhig.

«Das Einzige, was ich tun kann, ist mitkommen», sagte Rustam endlich. «Aber ich kenne die Berge nicht. Du sagst ja selbst, sogar die Hirten konnten Marat nicht finden. Wie kann ich dir da helfen? Ich stecke auch so schon bis zum Hals in Arbeit.»

«Rustamtschik, was denn für Arbeit? Ich hab auf dem Weg hierher genügend von deinen Jungs gesehen. Ich weiß ja nicht, was die zu tun haben, aber sie haben dickere Bäuche als ich, wo ich mit Asamat schwanger war. Ich hatte schon befürchtet, dass du auch so fett geworden bist. Aber Allah sei Dank siehst du ja noch wie ein Mann aus.»

Rustam lachte kurz auf.

«Rafisa, mit dir kann man wirklich nicht streiten. Aber ich kann tatsächlich nicht für lange weg. Wir erwarten dieser Tage hohen Besuch in der Stadt.»

«Ich weiß schon, was für ein hoher Besuch das ist», winkte Rafisa ab. «Na und? Ist er besser oder wichtiger als Marat? Marat hat sein Lebtag lang kein Kopekchen geklaut, hat immer sein Wort gehalten, durch unser Dach hat's seit dreißig Jahren nicht mehr geregnet, weil Marat alles, was er macht, gewissenhaft macht. Und auch seine Kinder hat er so erzogen. Ich bin diejenige, die manchmal ohne Überlegung redet oder handelt, und es später bereut. Ich hab ihn schon betrogen, aber er mich nie. Und ein böses Wort habe ich von Marat auch nie gehört. So ist er. Und dein hoher Besuch? Kann der das auch von sich behaupten?»

«Du solltest vorsichtiger sein», sagte Rustam ernst. «Wir haben so eine Ordnung – vom König rede wie von einem Verstorbenen: gut oder gar nicht.»

«Und du bist ein Feigling!», erwiderte Rafisa bitter. «Alle seid ihr Feiglinge. Ich fahre nach Hause.»

Der Erdboden in den Bergen war hart, steinig, stellenweise dicht von Moos bedeckt, deshalb sammelte Marat einfach spitze Steine, legte sie als Pyramide über Ljolkas Leichnam zusammen, und versteckte sie unter Tannen- und Kiefernzweigen. Er sprach ein Gebet und wollte schon gehen, als ihm der Gedanke kam, die Wölfe könnten zu ihrer Beute zurückkehren, und dann auch Ljolkas Steingrab besudeln.

«Wenigstens muss ich das Lamm nicht mehr suchen», murmelte Marat und besah die zerfetzten Überreste des Schafs. Aus dem Wanst fielen die Därme heraus, die ganze Brust und die Innenseite der Keulen waren schon aufgefressen. Um die Wölfe von Ljolkas Grab abzulenken, ergriff Marat das tote Schaf am Huf und zog es fort. Das Schaf war schwer, gut genährt, und Marats Arm schmerzte noch immer. Nachdem er das Schaf etwa hundert Meter weiter geschleppt hatte, war er völlig erschöpft. In der Zwischenzeit nahte die Dämmerung mit Macht. Von den Gipfeln der Berge zog es kalt herüber, Nieselregen setzte ein. Da bekam Marat auf einmal Sehnsucht nach Rafisa. Gern wäre er jetzt unter ihre Decke gekrochen, hätte sie umarmt, sich an ihre warme Seite geschmiegt, nur ihre Füße waren immer kalt, aber das war gut so, denn Marats Füße waren nachts heiß wie zwei Öfen. Außerdem verlangte ihn nach schönem, frischem Beschbarmak — mit dünnem, aber festem Teig, die Kartoffeln saftig und locker, und das Wichtigste, die runden Kasyscheiben wie Münzen obendrauf, angerichtet mit kleingeschnittenen Tomaten und kräftiger, fetter Sorpa.

«Rafisa!», rief er. «Ich lebe!»

Es war noch ganz dunkel, als der Bus kreischend vor dem Betonwartehäuschen und dem schwach beleuchteten Dorfplätzchen bremste. Die Fahrgäste erwachten langsam, müde, holten dann lärmend ihre Sachen von der Gepäckablage. Rafisa saß vorn, stieg daher als eine der ersten aus, dehnte sich ausgiebig, gähnte, eine Hand vor den Mund haltend, und ging in Richtung ihres Hauses. Das Dorf schlief noch, nur hinter den Gartenzäunen kläfften faul ein paar Hunde, unter den trüben Straßenlampen schwirrten Nachtfalter, in der Ferne rief kurz, zart eine Zwergeule, die Luft war kühl und erschien Rafisa nach dem dichten, schweren Stadtmog besonders rein und aromatisch. Sie kam zum Haus, öffnete die Pforte und spürte sogleich, wie etwas Warmes ihre Beine berührte. Sie bückte sich und sah in der Dunkelheit nur glänzend leuchtende Katzenaugen.

«Tschernucha?», rief Rafisa ungläubig.

Die Katze mauzte kläglich zur Antwort.

«Tschernucha!», rief Rafisa, packte die Katze am Nackenfell, rannte zur Treppe, um das Licht anzuschalten. Das Fell des Tieres hing in Fetzen, ein Auge ging nur mit Mühe auf, doch es war zweifellos Tschernucha.

«Nicht möglich», flüsterte Rafisa, trug die Katze ins Haus, goss eilig Milch in ihr Schälchen. «Es heißt nicht umsonst, dass Katzen sieben Leben haben. Ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen, wie du da im Gras gelegen hast und dir die Krähen schon fast die Augen auspickt haben. Meine kleine Tschernucha, verzeih mir», redete sie leise, hockte sich vor das Tier, streichelte das Fell, entwirrte die verfilzten Haarbüschel: «Wenn du schon aus dem Jenseits zurückgekehrt bist, dann kommt auch Marat wieder. Und ob er wiederkommt! Und auch das verdammte Schaf bringt er mit!»

Tschernucha aber verstand Rafisas Worte nicht, oder verstand sie doch und ließ es sich nicht anmerken. Sie schnurrte nur mit dem ganzen Körper und leckte, schleckte die Ränder ihres Schälchens aus, als wolle sie sogar den Duft der Milch

vertilgen. Der Himmel vor dem Fenster verfärbte sich allmählich hell, rosa, und vor seinem Hintergrund traten immer deutlicher die seltsam geformten, weitverzweigten Silhouetten der Bäume hervor.



<https://school.ilyaodegov.com/donation>

**НАШ ЖУРНАЛ – ЭТО НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ПОДДЕРЖКУ
КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ КАЗАХСТАНА
И МИРА**

**ХОТИТЕ ТОЖЕ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ?
БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ВАШ ВКЛАД!**



https://ilyaodegov.com/lit_baza

**ПРИГЛАШАЕМ НАЧИНАЮЩИХ
И ПРОДОЛЖАЮЩИХ АВТОРОВ НА КУРС
ИЛЬИ ОДЕГОВА ПО ПИСАТЕЛЬСКОМУ
МАСТЕРСТВУ «ЛИТПРАКТИКУМ: БАЗА»!**

- Обучение сторителлингу
- Реализация таланта
- Минимум 3 написанных рассказа по завершению курса
- Общение с единомышленниками
- Возможность публикации

Подробности по ссылке выше!

**ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
РЕКЛАМА ВАШЕЙ КНИГИ!**

sozday@sozday.kz

SØZDAY, №1 (01) 2024

SÖZDAY

#1 (01) 2024

Независимый литературно-художественный журнал

Основан в июне 2024 г.

sozday.kz



Главный редактор

Илья Одегов

Редакторы

Владислав Резников

Ольга Капитова

Дизайн и вёрстка

Дина Абдулхамид

Айгуль Байгожаева

Веб и СММ

Алексей Талаев

Яна Городецкая

Координаторы

Жанара Аламанова

Анатолий Батомункуев

ISBN 978-5-0064-7515-1



9 785006 475151 >

sozday@sozday.kz

sozday.kz